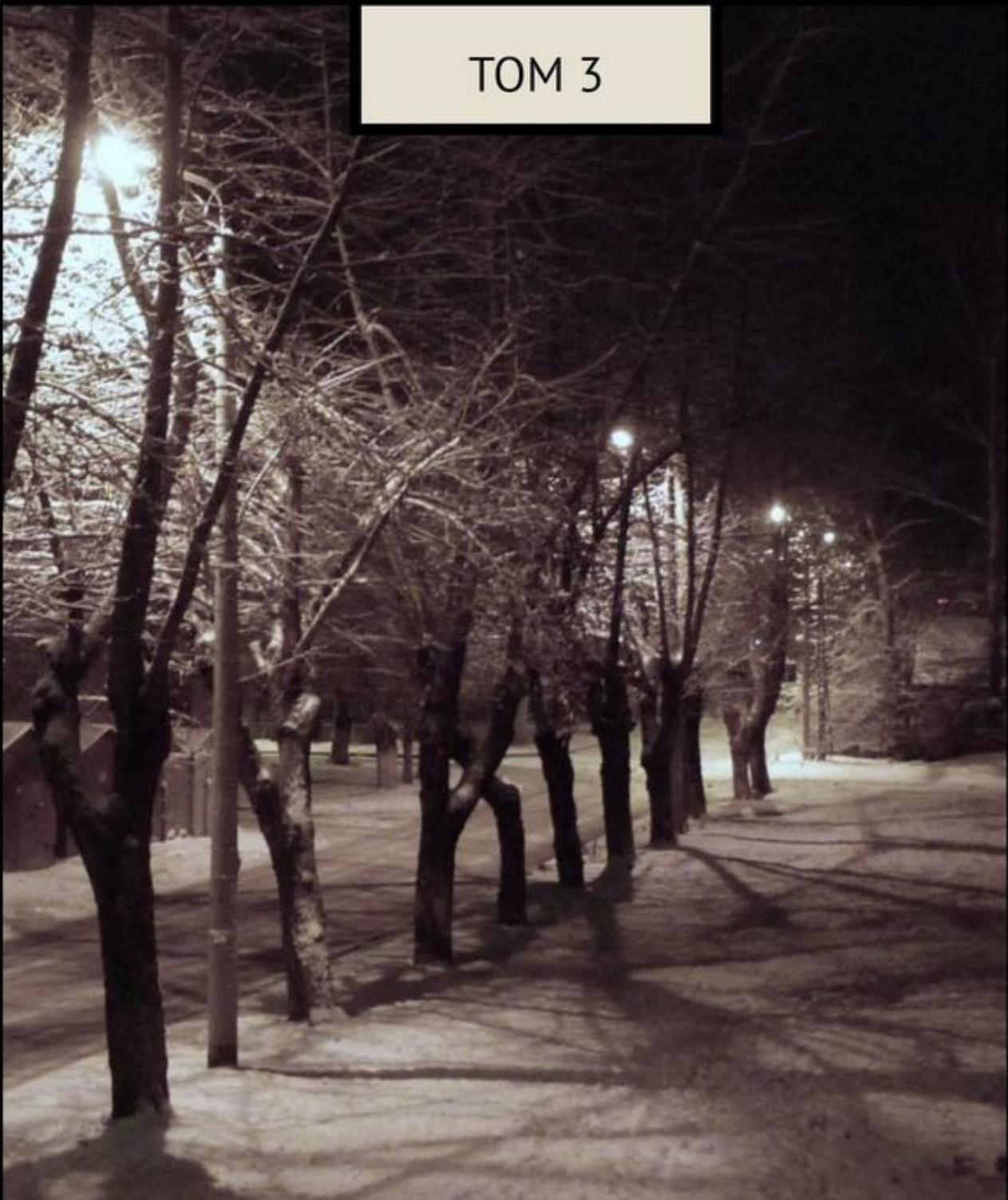


18+

ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТОВ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТЕТРАДИ

ТОМ 3



Вячеслав Лютов

Провинциальные тетради. Том 3

«Издательские решения»

Лютов В.

Провинциальные тетради. Том 3 / В. Лютов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-987229-6

В книге собраны стихотворения, проза, литературные и философские заметки 2003—2020 годов, в том числе работы, посвященные творчеству Г. С. Сковороды, русских философов и уральских краеведов.

ISBN 978-5-44-987229-6

© Лютов В.
© Издательские решения

Содержание

СНЫ ГРИГОРИЯ ВАРСАВЫ (2003—2005)	6
Вместо предисловия	6
Биограф Сквороды	7
Киевская академия	11
Монарший клирос	15
Токайский путешественник	19
Коврайский житель	22
Страшный сон	26
В саду божественных песен	27
Игры на свирели	30
Сны сквозь замочную скважину	33
Портрет со стороны	35
Сон кузнечика	37
Письма Григоря Сквороды Михайло Ковалинскому	39
Первая книга	45
Гужвинский гносис	47
Отражаясь в воде	49
Киевский сон	52
В поисках счастья	54
За букварем мира	59
Басни Харьковские	61
Свитка и посох	63
Сквородинские тени	67
Сны странника	70
Три недели	74
Последняя остановка	76
Григорий Саввич говорил	78
ЛИСТ ОКТЯБРЯ	80
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Провинциальные тетради

Том 3

Вячеслав Лютов

© Вячеслав Лютов, 2020

ISBN 978-5-4498-7229-6 (т. 3)

ISBN 978-5-4498-7227-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

СНЫ ГРИГОРИЯ ВАРСАВЫ (2003—2005)

*Александру Зизевских.
Мир ловил меня, но не поймал...
Григорий Сковорода*

Вместо предисловия

...Маленькому Григорию снились большие часы.

Часы эти отец Савва, добрый потомственный казак, привез в 1725 году, когда с севера еще только спешила на Украину весть о смерти «полтавского героя» Петра Великого, и когда мальчику, трех лет от роду, уже было позволено трепать против шерсти добродушных домашних псов. Привез с Лубенской ярмарки к себе в Чернохи, в просторный дом на косогоре, и поставил в светлую комнату – залу – на которую тогда была провинциальная киевская мещанская мода.

У часов были витые фигурные стрелки, римские цифры на циферблате, казавшиеся мальчику таинственными и смысла которых он тогда не понимал, и тяжелый зеркальный маятник, окруженный гроздьями винограда и смешными ангелочками.

И снится мальчику, что он, словно маленький паучок, ползет вверх по маятнику. Вдруг становится темно – потому что он скрывается за циферблатом, попадая в царство пружинок, металлических волосков, пластинок и крючков; а оттуда – к зубчатым колесикам, которые крутятся, цепляясь друг за друга: одно – в одну сторону, другое – в другую, и так друг другу напротив.

И слышит мальчик странный разговор.

– Скажи мне, – говорит одно колесо другому, – почему ты крутишься в другую сторону, а не вместе с нами?

– Меня так сделал мастер мой, – был ответ. – И я вам не только не мешаю, но еще и помогаю тому, чтобы часы наши ходили по рассуждению солнечного круга.

Это были очень забавные и очень серьезные колесики-шестеренки, и мальчик улыбался во сне, чтобы потом, проснувшись, вспомнить, как вечером накануне старый местный дяк говорил отцу:

– По разным природным склонностям и путь жития разный. Однако всем один конец – честность, мир и любовь...

Биограф Сковороды

Григорий Саввич Сковорода родился в Малороссии в 1722 году в небольшом селе Чернохи Киевской губернии. «Родители его были из простых людей: отец – казак, мать – такого же роду. Они имели мещанское состояние, посредственно достаточное, но честностью, правдивостью, гостеприимством, набожностью, миролюбивым соседством выделялись в своем кругу».

Так начинается рассказ о своем друге и учителе Михаил Ковалинский, «любимый мой кузнецик и дорогой муравей», как называл его Сковорода в одном из писем.

Муравей этот действительно дорог – написанная Ковалинским биография философа не просто является ценнейшим источником – она вся исполнена уважения и вместе с тем независимости своих суждений, а бережное отношение к памяти друга не имеет ничего общего с «дружеской ретушью». Из огромного вороха мемуаристики, попадавшейся когда-либо мне на глаза, я на вскидку могу назвать лишь одного человека, который бы *так* рассказал о другом, – Степан Бегичев и Грибоедове. Нет ни суеты, ни многословия, ни слащавости, ни попутного купания в лучах славы – словом, всего того, что отличает денщика от барина. Впрочем, Ковалинскому это было и не нужно.

О нем самом в пору писать свою повесть. Сын священника, выучившийся в Харьковской семинарии, и воспитатель детей гетмана Кирилла Разумовского, Ковалинский был одним из образованнейших людей своего времени, людей, которые словно выныривали из российского невежества (невежества) за глотком свежего воздуха, которые становились теми дрожжами, на каких замешивалась русская интеллигенция с ее прежним государственным мышлением. Послужной список Ковалинского весьма почтителен – от службы в канцелярии князя Потемкина до должности наместника Рязанской губернии в чине генерал-майора и куратора Московского университета.

И вот здесь, пока пафос карьеры не остыл, стоит сделать важную оговорку: Ковалинский достиг своих степеней не благодаря учительству Сковороды, а, напротив, как бы преодолевая его учение. Друг философа не растворился среди последователей – ошибки своей жизни оказались все же дороже и желаннее подражательной безошибочности. Он, несомненно, вплетал в себя идеи и поучения Сковороды, но ровно в той степени, которая позволяла бы ему оставаться Ковалинским. Именно такой «расклад» стал залогом их подлинной дружбы и правдивого отношения друг к другу.

Впрочем, стоит ли так много писать о мемуаристе? Не лучше ли сразу заняться главным героем? Отвечаю: стоит и не лучше... Уже хотя бы потому, что добрая половина эпистолярного наследия Сковороды адресована именно Ковалинскому. Хотя бы потому, что нам часто с ним придется «встречаться» (как и В. Ф. Эрну в докладе 1911 года). Наконец, хотя бы потому, что именно Ковалинскому принадлежат первые оценки философии Сковороды и его личности, первая попытка разгадать тайну человека или хотя бы чуть-чуть очертить ее. Что же касается самой ценности «первого восприятия», живого и непосредственного, то оговаривать здесь попросту нечего...

«Жизнь Григория Сковороды, написанную в 1794 году в древнем стиле» Ковалинский начинает с очевидного: «Во всем существующем есть нечто главное и всеобъемлющее: в бесчленных ископаемых – земля; в растениях – вода; в животных – огонь; в человеке – разум... Человек в этом начале живет, движется, существует. Эта главнейшая, всемирная, невидимая сила единая – разум, жизнь, движение, существование... – наделяет его от главного благородства преимуществом – *свободной волей*...»

«Подвиг, то есть правильное применение свободной воли, совершает разделение, и этот подвиг *в выборе* истинного, доброго, совершенного...»

«Поставленный между вечностью и временем, светом и тьмой, истиной и ложью, добром и злом, имеющий преимущественное *право выбирать* истинное, доброе, совершенное и *приводящий то в исполнение на самом деле*, во всяком месте, бытии, состоянии, звании, степени, есть *мудрый*, есть *праведный*...»

Эти философские рассуждения биографа, написанные вполне в духе просветительской традиции и предваряющие повествование о жизни философа, могут, отчасти, показаться здесь лишними. Но нам они и интересны именно как первое глубокое восприятие жизни Сковороды как жизни Сократа, свободной волей выбравшего для себя этические правила, или как жизни Нила Сорского, пожелавшего «связать себе законы божественных писаний и последовать тем». А отождествление мудрости и праведности, несомненно, является уникальной «житийной» основой Сковороды-философа.

Если ее удастся почувствовать – пусть это будет лучшей оценкой наших заметок...

Найти корни простого и ничем не заметного казацкого рода Сковороды, да еще в темных ХУ1—ХУП веках – занятие практически безнадежное. Есть, конечно, некоторые предания, общая история казачества, есть даже семейные «сковородинские» байки – но все это вкуче лишь беглые и случайные картинку, штрихи (хотя я, может быть, и не прав – слишком многие исследования и источники мне в данное время и в данном месте попросту недоступны). Но как бы то ни было, этим эскизам пока и доверяюсь.

Прапрадеды Сковороды – без имени и отчества, – стоявшие у истоков казачества, скорее всего, как и другой люд, бегали некогда в Сечь *голотой*, нанимались, как и большинство прежних «доромановских» казаков, на заработки – «ходили казаковать», промышлять рыбой и зверем. Особое удовольствие доставляли походы – то на крымских татар, то на молдавских цыган, то на шляхту. Иногда, под винными парами, могли и Москве погрозить. В общем, разбой и кочевье, хотя и принявшее со временем «цивилизованное направление» и «государственные формы».

Немного известно (и то, должно быть, неправда) о прадеде Сковороды – он бродяжить по разудалой казацкой вольнице не стал, женился, зацепился за подол, назвался сиднем, *гнездюком*, хотя всякий раз возил в Сечь хлеб, а однажды даже провел там всю зиму, охраняя с друзьями куренями трофейные турецкие пушки и прочую запорожскую походную утварь. О нем сохранилась (а может быть, и придумалась) байка, что его некогда крестил сам гетман Сагайдачный незадолго до своей кончины.

Дед Сковороды тоже был неплох, не раз выбирался в куренные атамань и даже ходил вместе с Хмельницким под Жванцы против ляхов, хотя и неудачно. Говорили, что душа у него была не на месте: сидя с казаками на засеке, мечтал о тихом хуторе и хлебном поле; гнездясь дома с женой и ребятишками, мечтал о походах и казацких подвигах. Так покоя и не нашел и тоской такой себя измучил.

От отца, Саввы Сковороды, будущий философ унаследовал миролюбие и благочестие, от матери – терпение и хороший голос. Это, пожалуй, единственное достоверное сообщение...

Реконструировать детство человека, затерявшееся где-то в начале ХУШ века, – задача сродни предыдущей. Но здесь есть хотя бы источник – целый абзац из хроники Ковалинского. Больше, к сожалению, довериться некому. И это тем печальнее, если учесть, что именно в детстве «вылепляется» сущность человека, и детские впечатления подчас становятся решающими (как здесь не вспомнить выросший из детских неврозоз и страхов психоанализ ХХ века!)

Впрочем, биограф говорит следующее:

«Григорий на седьмом году о рождении отличался склонностью к набожности, талантом к музыке, охотой к наукам и твердостью духа. В церкви он добровольно ходил на церковные пения и пел чудесно, приятно. Любимый же, почти всегда напеваемый им был такой стих отца

Иоанна Дамаскина: „Образу золотому, на поле Деире служимому, три твои отроцы не берегоша безбожного веления...“ и прочее...»

На этом, собственно, детство кончается. Хотя...

Термин Э. Радлова *невегласие* уже давно прижился в философской литературе, обозначая то *повсеместное невежество*, царившее в России в XVIII веке. Но именно из него, собственно, и произросла – с трудом, как деревце сквозь асфальт – русская культура и русская интеллигенция. Кстати, определение «повсеместный» нуждается в некоторой корректировке – русское невежество (как и нищета) имело свою географию: чем дальше в глубь России, тем отчаяннее положение.

На «приграничных» территориях дело обстояло совсем иначе. К примеру, достаточно образованы были архангельские крестьяне, поморы; М. В. Ломоносов вовсе не из тьмы вышел – только в одних Холмогорах было несколько школ; крестьяне Шубин и Дудин, обучавшие Ломоносова читать и считать, сносно владели несколькими языками; да и сам отец «русского Невтона», имевший свой по-европейски оснащенный галиот, стоит думать, не на пальцах изъяснялся в современной ему навигации. В продолжение примера можно вспомнить и хорошее замечание Г. В. Плеханова: «Родись Ломоносов в какой-нибудь помещичьей деревне центральной России, ему, пожалуй, не пришлось бы сопровождать своего отца дальше, как от господской усадьбы до господской пашни...»

Точно так же – почти слово в слово – можно сказать и о Григории Сковороде (кстати, и Сковорода, и Ломоносов, если верить уточненной биографической хронологии, в 1734 году оказались в одном и том же месте – в Киевской академии; только первый пришел, а последний собирался академию покинуть).

Действительно, Гетманщина на протяжении всего XVIII века (до ликвидации Сечи и закрепощения крестьян) была буквально наполнена *страстью к знаниям* и чем-то даже напоминала громокипящий кубок, в котором смешалось множество культурных и религиозных традиций. Кстати, и еще задолго до прорубленного Петром окна в Европу, заграничные путешественники с удивлением отмечали, что, например, большинство казацких жен и дочерей умеют читать («бабам ли грамоте уразуметь!»), а зачастую встречаются такие казаки, чьи обширные познания совсем не укладываются в характер простолюдина.

Как свидетельствуют ревизские полковые книги в архиве Малороссийской коллегии, только в селах Лубенского полка, к которому был «приписан» и Савва Сковорода, было 172 школы; в самих Чернохах – три, причем, количество дворов едва насчитывало полторы сотни. Обычная, среднестатистическая – по нынешним меркам – деревушка.

И вот здесь лирическое отступление так и просится на бумагу.

Очень жаль современную государственную систему образования. Перенести бы Сковороду из прошлого в наше настоящее, так он, пожалуй, ездил бы на автобусе в райцентр учиться (и то с неохотой), поскольку подобное количество дворов смотрело бы на одну-единешенькую и то невероятно запущенную школу с нищими и озлобленными учителями, месяцами не видевшими зарплату. Сковороде просто повезло, что он родился в просветительском водовороте. К слову, все школы на Гетманщине – явление исключительно народное; никаких правительственных программ там попросту не было; никаких бюджетов (хотя, правды ради, заметим, что была строчка на школы в казацком коште), субсидий, инвестиций, государственных траншей и государственной политики.

Однако, так ли это важно для понимания философии Сковороды? Важно, и даже очень. Подобное школьное изобилие – не чета нынешнему – ярко свидетельствовало о знании как *потребности*. Народ не толкали к учению и знаниям – он сам толкался за ними, как на рынке за маслом или мясом. Сама среда поэтому становилась теми дрожжами, на которых замешивали

валось *оригинальное* философское тесто. «Оригинальность», конечно, относительная – шло тотальное примеривание западной философской шапки на украинские чубы. Пусть самобытных идей пока не было, но *самобытный поиск* их был представлен весьма широко. Именно об этом я и хотел сказать, выделив банальное сочетание «страсть к знаниям». И именно ее и следует назвать одним из главных впечатлений детства Сковороды.

Другим впечатлением, также из этой страсти произросшим, стали учителя маленького Григория, который уже к шести годам выучился бегло читать. Имена их неизвестны – и это, кстати, еще одна из черт той эпохи: *неперсонифицированность образования*, странная, но позитивная *безличность*, некий неповторимый фольклорный образ – образ странствующего *жакашколая*, недоучившегося *спудея*, пробирающегося домой на летние вакации, нищего, полуголодного, но весьма романтического, к месту и не к месту толкующего, к примеру, Горация какому-нибудь казацкому дитяти за кров и харчи. Таким этот образ и отложился в памяти Сковороды.

Тогдашние спудеи, в основном, питомцы Киевской академии, исходили гетманские и запорожские земли вдоль и поперек и были таким же обычным явлением, как ныне появление в телевизоре какого-нибудь очередного кандидата в депутаты. Более того, Д. Яворницкий в своей «Истории запорожских казаков», развенчивая миф о казаках как о гуляках, пьяницах и грубых невеждах, склонен считать, что «ученые и недоученые спудеи» вкупе с польскими и украинскими панами и великорусскими дворянами стали особым культурным прецедентом. Они даже отличались своим языковым строем: запорожцев, к примеру, узнавали по частым ссылкам на Священное писание, любви к иностранным словам и витиеватым выражениям типа «душепагубного озера греховного». Подобные школярские тайны в виде «недишкреции, респонса, сатисфакции и перспективы» наверняка попадали на слух еще только постигавшему премудрости азбуки Сковороде.

Так что еще раз отметим: народная страсть к знаниям и пленительный для детского воображения странствующий студент и стали тем живым «ненаписанным» букварем, по которому училась когда-то читать русская философия.

Впрочем, подошло время и самому Сковороде стать «спудеем» – в 1734 году (по другой версии – в 1738 году), двенадцати лет от роду, как, кстати, и сыновья гоголевского Тараса Бульбы, он отправился в Киевскую академию.

Киевская академия

Прекрасен был град Киев, и холмы Киевские, благословленные когда-то святым апостолом Андреем, крещенные святым Владимиром и возвеличенные в монашеской аскезе великим Феодосием Печерским. Богат был Киев – слишком много торговых путей сходились в его лавках на Крещатике и Липках. Разношерстен был Киев – кто только не запутался в Подоле его великолепного платья: и казаки, и шляхтичи, и немцы, и русские, и евреи, и еще прочих национальностей десятки. Вот здесь, в этой пестроте и многоцветье Подола, плодила талантливых школяров Киевская академия, ставшая, по словам исследователя, основой складывающейся в России разночинной интеллигенции и приютившая в своих стенах как выходцев из духовного сословия, так и из обычных казацкого и чиновного.

Лик ее основателя – сына молдавского воеводы Петра Могилы – уже довольно потускнел за столетие, так что двенадцатилетнему Григорию Сковороде остались в наследство лишь легенды о загадочном киевском митрополите. Никто не знал, где Могила учился – кто-то называл Замойскую академию, пропитавшую его «польским духом», а кто-то даже отправлял его в диковинную Голландию. Рассказывали о том, что Петр Могила, тогда еще молодой Печерский архимандрит, собирался открыть латино-польскую школу, и не где-нибудь, а в лавре, чем ужасно растревожил весь Киев – как пишет летописец, «от некоторых попов и казаков великое было негодование... и хотели самого Петра Могилу и учителей его до смерти побить, едва их уговорили».

Из этого «спора» Могила вышел победителем и даже «переселил» свою школу в православный Братский монастырь. Говорили, что «зело умен был» и покровителей имел весьма надежных («родовые связи», как называет это Г. Флоровский; кстати, после смерти отца Могилы, опекунами Петра были канцлер Жолкевский и гетман Ходкевич). Школу же выстроил по иезуитским образцам, почти целиком переняв план общего образования. Учебники и книги также были «еще те» – начиная латинистом Альваром и кончая Аристотелем и Аквином. Преподавание велось строго на латыни. Жесткий распорядок школьной жизни соответствовал иностранным (европейским) коллегиям и академиям.

Сковорода подобную «иезуитчину», естественно, застал. В академии существовало четыре только языковых латинских и греческих классов: фара, инфима, грамматика, синтаксима. Завершали обучение в классах философии и богословия с тем стандартным набором философских и схоластических сочинений, который так не устраивал, к примеру, того же Ломоносова. Вкусил Сковорода и строгость коллегии – в академии розгами и плетью насаждался почти монашеский режим, а иезуитские требования к качеству учебы были настолько высоки, что в списках студентов частенько появлялось примечание: «по вакациях не явился».

Впрочем, возвращаясь ко времени Петра Могилы, заметим, что обвинения в латинизме, папстве, униатстве, католицизме были столь часты и однообразны, что в конце концов Могила перестал обращать на них внимания. Главным его трудом – странное дело! – стала книга «Православное исповедание», в которой он бичевал протестантов, заполонивших Европу и теперь пробирающихся в казацкие пределы, и отвергал многие папские догматы. Мудрые люди так и не смогли понять, чего же в нем оказалось больше: *латинского православия* или *русского католичества*. Не мог этого уразуметь и Сковорода, попавший, даже по прошествии века с означенных событий, в жаркие богословские споры и диспуты. Не уразумел не потому, что был «слаб рассудком», а потому, что сама суть спора – как это ни покажется парадоксальным – была ему *совершенно неинтересна*. Этому есть целый ряд объяснений, но пока подчеркнем лишь суть выделенного сковородинского парадокса.

И еще. Прот. Г. Флоровского в «Путиях русского богословия» писал:

«Могила и его сподвижники были откровенными и решительными западниками. Они стремились *объединить русских и нерусских за единой культурной работой*, в единой психологии и культуре. И та глухая, но очень напряженная борьба, которую мы все время наблюдаем вокруг всех начинаний и предприятий Могилы, означает именно эту *встречу и столкновение* двух религиозно-психологических и религиозно-культурных установок или ориентаций – *западнической и эллино-славянской*».

Стоит ли дополнительно пояснять, что Малороссия как раз и стала той пробиркой, в которой эти реактивы смешались без каких бы то ни было прогнозов на исход опыта? Что же касается Сковороды, видевшего эту встречу воочию и ежечасно, то и он не избежал ее. Вот только сама встреча оказалась в философии Сковороды совершенно иной, нежели ее схематично рисуют университетские учебники.

Впрочем, пока самому Григорию не до этого. Вернее, *это* пока является тем внешним обстоятельством, с которым приходится считаться, но осознавать – нет ни желания, ни мотивов.

Пока Григорий обильно «заправляется Альвара» – штудировать латынь по знаменитой латинской грамматике Эммануила Альвара, изучает язык под чутким руководством таких корифеев академии, как Г. Конисского и Р. Заборовского. Вообще, киевские «спудеи» весьма ценились именно как переводчики. Это и понятно, если вспомнить, как их «натаскивали». Помимо ежедневных упражнений, чтений и переводов, ученикам вменялось говорить на латыни не только в академии, но и дома. Провинившимся или неучам вешали на шею большой деревянный футляр с длинным листом бумаги и не разрешали снимать даже на ночь (Ю. Барабаш. «Знаю человека». Григорий Сковорода: Поэзия. Философия. Жизнь. М., 1989. – из редких русских источников о Сковороде эта книга является наиболее ценной).

Юный Сковорода эту деревянную метку не носил. И дело здесь меньше всего в прилежании или усидчивости. В нем жила страсть к языку, в нем обитал *филолог*, столь трепетный в то время и столь редкий в наше. Когда исследователь, к примеру, говорит, что та же латынь стала «органической частью не только его творчества, но и всего мироощущения», он не далек от истины – так и было.

Однако, одних стихотворений Сковороды, написанных на латыни, его переводов, его многолетней «латинской» переписки с Ковалинским, неугасаемой любви к Горацию, мотивы которого слышны в доброй трети «Сада божественных песен» – всего этого вдруг оказывается недостаточно для того, чтобы понять роль *языковой органики* в его судьбе и философии. Не хватает «мелочей», которые подчас совсем не имеют лингвистической природы.

Для заметок вполне уместно лишь бегло очертить языковой портрет Сковороды.

«Он говорил весьма исправно, – вспоминал Ковалинский, – с особой чистотой латинским, немецким языком и довольно разумел эллинский». В последнем ему помог учитель С. Тодорский, он же пристрастил Сковороду и к древнееврейскому. Кстати, еще один мемуарист, Г. Гесс де Кальве, говорит, что у Сковороды была «еврейская Библия», с которой он никогда не расставался. Даже свое имя подписывал на древнееврейский манер: Григорий Варсава, буквально: сын Саввы. В повседневной жизни «известный странник Сковорода», как вспоминали позднее, «был по наречию сущий малороссиянин». Тот же Ковалинский отмечал, что Сковорода «любил всегда природный язык свой (украинский) и редко принуждал себя изъясняться на иностранном». Такие филологические знания, по мысли В. Эрна, конечно, были исключительно для простого бурсака.

Между тем, знание языков отнюдь не стало для Сковороды самоцелью, сверх-целью. В этом смысле, он вовсе не трепетал и не благоговел перед грамматикой, и не проводил того причудливого лингвистического анатомирования, к какому склонно «кабинетное мышление». Иными словами, он не делал из языка науку (хотя и пытался сложить свою поэтику). Но язы-

ком как совершенным инструментарием был, несомненно, горд. К слову, знание языков для него очень прочно соседствует с такими понятиями, как *польза* и *добродетель*. Первое обращается для грамотного человека надежным жизнеустройством, второе дает благодатную пищу для души – не книжную премудрость, а именно *книжную усладу*. Отчасти, можно сказать и так: Сковорода учил языки только затем, чтобы читать Горация или Плутарха, – и все. Что же касается полиглотства как такового – то это обычное следствие «ученого базара», где так безнадежно переплелись между собой эпохи, религии и авторы.

Кстати, об авторах.

Сам Сковорода не раз позднее приводил в пример латинскую поговорку: *non multa sed multum* – не многое, но много. Знание складывается вовсе не из количества прочитанных книг, а из *значимости* прочитанного. В этом смысле энциклопедических познаний у Сковороды не было (и вряд ли он стал бы играть с нами в «Что? Где? Когда?»). Но в том, к чему у него лежала душа, он был поистине обширен, хотя в своих сочинениях практически не показывает свою начитанность в виде разнообразных ссылок, цитат, сравнительного анализа и прочего, чем так любит заниматься исследователь.

Эрн справедливо говорит, что Сковороду отличает *редкое благородство вкуса* – по поводу списка книжных имен, который, несомненно, стоит того, чтобы его привести хотя бы частично (и если мы поймаем себя на мысли о «засилии» имен – то это лишь весьма печальная психологическая реакция нашей «образованнейшей» эпохи).

Прежде всего, в основе *библиотеки* Сковороды лежит нравственная теология (*theologia ethica*) – Платон, Исократ, Демосфен; он читает также Эпикура, Аристотеля, Филона, Марка Аврелия, Лукиана, Плутарха. Другой ряд – римский: неизменный Гораций, Вергилий, Цицерон, Сенека, Лукреций, Теренций. К античной литературе у него непосредственно примыкает и патристика: Климент Александрийский, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Исидор, Василий Великий; и вместе с ними «подозрительные для православия» и не включенные в программу Ориген, Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник.

Главою же и сердцем всему – Библия.

Кстати, точно такой же *спонтанный* и *неразборчивый* список святоотеческих писаний был и у Гоголя в пору его напряженного религиозного «самостроительства». Впрочем, Гоголь тогда явил собой одну из характерных черт богоискателей – «вера наша и католическая суть одно и то же, ибо в единого бога веруем». Если неразличение православных и католических источников часто ставилось Гоголю в вину, что же говорить об «эпохе Сковороды», представляющей сплошное «месиво» различных источников!

Мы возвращаемся к тому же, с чего и начали – к многоголосою и неразберихе могилянско-й эпохи. Ее нужно было пережить. Ее нужно было узнать – что, собственно, и требовала академическая традиция. Но, главное, через нее нужно было прорасти, не стать академическим асфальтом и не сражаться с ним с отбойным молотком. И здесь хотелось бы привести очень точное объяснение В. Эрн: «Для того, чтобы в этих условиях возлюбил философию и стать ее верным рыцарем, нужно было обладать глубоко самобытной натурой, *изнутри проникнутой философским Эросом*. Если Сковорода, сын простого казака, становится одним из любопытнейших европейских философов ХУШ века, то этим он обязан не школам, в которых учился, не среде, в которой вращался... а единственно *себе*, силе *своего* устремления к философскому самопознанию».

Отчасти можно сказать, что Сковорода начал учиться как раз тогда, когда пору ученичества можно было считать завершенной, как это и делали многие его однокашники по Киевской академии – окончив курс, выходили, поднимались по служебной лестнице к чинам и наградам. У Сковороды все иначе. Даже свои поздние письма он частенько подписывал «студент Григо-

рий Сковорода». Он любил себя именно как *semper tiro* – вечного ученика. Кстати, с Киевской академией он свяжет без малого два десятилетия «ученичества».

Его первый «перерыв» выпадет как раз на класс философии, предпоследний в программе. Повод же для перерыва был весьма ничтожен и отнюдь не философичен – так, *куръез судьбы...*

Монарший клирос

1741 год выдался для России весьма неудачным (что, кстати, для России отнюдь не ново). После смерти царицы Анны Иоановны, и без того наградившей Россию мрачной бироновщиной, дела пошли еще хуже. Назначенный ею преемник-царевич, младенец Иоанн Антонович, еще в колыбельке головку не держал; как в калейдоскопе, регенты менялись друг за другом: Бирон, Миних, племянница бывшей царицы Анна Леопольдовна... Во всем – сплошной упадок и расстройство, неразбериха и растроченная казна. К тому же шведы объявили войну. Одним словом, полоса...

Наконец, в ноябре 1741 года императрицею стала дочь Петра Великого Елизавета. Основной пафос, с которым историки пишут о временах ее правления, – «восстановилась связь времен», возвращалось все то, что когда-то было заложено ее отцом. Нам же лучше остановиться на другом.

В характере Елизаветы Петровны мемуаристы и историки чаще всего отмечали особую *двойственность*, говорили, что «Елизавета попала *между двумя встречными культурными течениями*, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий благочестивой отечественной старины». А поэтому в ней так легко переплетались версальские банкеты и русская кухня, менуэт и плясовая.

В «личной жизни» Елизаветы также оказалось множество несоответствий «штандарту». В. О. Ключевский так говорит о ней в своих лекциях: «Невеста всевозможных женихов на свете... она отдала свое сердце придворному певчому из черниговских казаков, и дворец превратился в музыкальный дом: выписывали и малороссийских певчих, и итальянских певцов... те и другие совместно пели и обедни и оперы».

«Черниговский казак», пастушок – Алексей Разумовский, будущий граф и морганатический супруг царицы.

А среди «выписанных для двора малороссийских певчих» оказался в тот год и наш герой – Григорий Сковорода...

М. Ковалинский в своей биографии не слишком распространяется об этом «незначительном» событии, словно для лубенских казачков отправиться в путешествие в Москву и Петербург ничуть не удивительнее Сорочинской ярмарки. Я уже не говорю, что быть подле императрицы, пусть и в виде коврика под ногами – голубая мечта любого дворянского недоросля. Не распространяется биограф, скорее всего, по-философски – внешние обстоятельства: вся эта мишура и букли – его учителем никогда не ценились. Стоит ли тогда «акцентировать внимание» на подобных мелочах?

Рассказывает же весьма бесхитростно: «Тогда царствовала императрица Елизавета, любительница музыки и Малороссии. Способности Сковороды к музыке и отменно приятный голос его стали причиной выбора его ко двору в певческую капеллу, куда он и был послан при вступлении на престол императрицы».

Так «незатейливо» начинались его странствия – *мандры* (от немецкого «wandern» – путешествовать, бродить). В начале декабря 1741 года Сковорода вместе с другими голосистыми малороссами прибыл в Петербург, новую столицу государства Российского.

Петербург, еще только, по сути, расчерченный, но уже проткнувший серое северное небо Петропавловской иглой, уже смотревший на Неву окнами Двенадцати Коллегий и хранивший в новой Кунсткамере коллекцию Петра, был великолепен. В нем, конечно, еще много было свободы и необузданности, соленого ветра и дикого нрава; но его «портные» – от Леблона и Земцова до Кваренги и Растрелли – уже всюю кроили прочную ледяную ткань на парадный

вицмундир, застегнутый на все пуговицы и крючки и сверкавший эполетами и геройскими звездами и крестами.

Будет – как же без этого – своя «казенная форма» и у елизаветинских певчих – малиновые мундиры с шелковыми пуговицами...

Можно сказать (так по меньшей мере следует из жизнеописания), что Петербург не произвел на Сквороду должного впечатления – не пленил, не закрутил как иных провинциальных дитятей в водовороте входивших тогда в моду балов и маскарадов, не ослепил праздничными фейерверками, не опьянил роскошью (конечно, певчие из «подлого сословия» на золоченый экипаж рассчитывать не могли, но получали от 100 до 200 рублей в год – деньги по тем временам вполне мещанско-приличные). Петербург словно исчез, никак не отозвался. Его жизнь шла отдельно, Сквороды – отдельно. Сошедшись на перекрестке – не пересеклись...

Именно это «биографическое ощущение» и является главной ошибкой исследователя. Я склонен думать – несмотря на практически полное отсутствие «личных фактов» пребывания Сквороды в столице, – что как раз Петербург стал настоящим испытанием для неокрепшей души недоучившегося спудея. Он его ошарашил, оглушил, отвратил от мира. Впрочем, жестокое житие Петербурга низвергало и шелкало по носу многих. Позднее забивало человека в подполье, заставляло в полной мере испытать приступы зависти и осознавать свое ничтожество, награждало кислым виноградом любви (не потому ли в жизни Сквороды никогда не будет женщины?), развращало, подличало. Словом, имело все те «прелести», которые принято называть «светом».

Много позднее в своем «Благодарном Еродии» (пожалуй, самом ярком и очень мною любимом диалоге) Скворода вынесет «тщетному миру» совершенно жестокий приговор: *«Мир есть пир беснующихся, торжестве шатающихся, море волнующихся, ад мучающихся... Мир есть море потопляющихся, страна моровою язвою прокаженных, ограда лютых львов, острог плененных, торжестве блудников, удка сластолюбная, печь, распалюющая похоти, лик и хоровод пьяно-сумасбродных, и не отрезвятся, пока не устанут, слепцы за слепцами в бездну грядущие...»*

Для того, чтобы это увидеть и ощутить, должности придворного певчего было вполне достаточно...

Капелла размещалась тогда в старом Зимнем дворце. Пусть и имевшая среди прочей дворни привилегированное положение, она жила своим весьма замкнутым и «подневольным» миром – бесконечные репетиции, церковные службы, концерты (в том числе и лично для императрицы чуть ли не в ее покоях), обязательные придворные торжества и банкеты «в царских палатах» (как в том знаменитом гайдаевском фильме). «Высшая публика» частенько *подняхом* – в старом спектакле о том, как смазывается служебная лестница и чем намыливается шея. Но развлекается – по статусу...

Должности придворного певчего было вполне достаточно, чтобы «оценить», как методично, шаг за шагом, а то и вовсе нахрапом, власть меняет человека – как вкусившие плод *гордыни мира* неизбежно становятся *пупом ада*. Кстати, молодому Сквороде далеко не нужно было ходить – стоило лишь взглянуть на одного из своих земляков (не то дядьку по материнской линии, не то двоюродного брата), дослужившегося до камер-фурьера, забравшегося в белые чулки и расшитый золотом кафтан и невидящего ничего, что ниже по чину или «подлее по происхождению».

И еще об одном «петербургском аспекте». Так уж вышло, что именно возможность *карьеры* – главное завоевание и гордость Петербурга – оказалась для Сквороды лишь незначительным пустяком, безобразной безделицей, в которой нет ничего, кроме «лазания по головам». Между тем, как уже говорилось, у киевских воспитанников, особенно во времена Елиза-

веты, были весьма заманчивые перспективы и почти все шансы устроиться в государственной иерархии.

К слову, здесь же, в Северной Столице, оказался одновременно со своим учеником и Симеон Тодорский – востребовалось его великолепное знание немецкого языка, чтобы сначала подготовить к переходу в православие наследника престола Петра Карла Ульриха, а затем – через год – принцессу Ангальт-Цербстскую Софию Фредерику Августу, будущую Екатерину Великую.

«Послужной список» Сковороды окажется не в сравнение скромнее его учителя – он «выйдет в отставку» в чине придворного уставщика, старшего на клиресе...

И все же не будем столь принижать звание уставщика (хотя бы на фоне нынешнего тотального стремления во власть и к мирским вершинам). Капелла, пусть только краешком, но все же войдет в философский мир – *микрокосмос* – Григория Сковороды.

В своих сочинениях Сковорода изредка, но все-таки будет «апеллировать» в качестве сравнений или пояснений и к музыкальному ряду, и к театральным образам. Кстати, «сценический опыт» у Сковороды был – опера Хассе «Милосердие Тита», которую играли в Москве в 1742 году по случаю коронации Елизаветы (придворная капелла, естественно, выехала в белокаменную вместе со всем двором). В эту оперу впервые, как пишет в своих записках Я. Штелин, «были введены императорские придворные церковные певчие, числом около пятидесяти».

Другим отголоском «карьеры уставщика» являются несколько сочиненных Сковородой церковных напевов. Первый – на тему «Иже херувимы» – он сложил еще будучи в капелле. Другой, более поздний – пасхальный канон «Воскресение день» – даже вошел в общую церковную службу и известен как «Сковородин напев».

Стоит сказать, что музыка занимала немаловажное место в его жизни. М. Ковалинский рассказывал: «Он сочинял духовные концерты, положи некоторые псалмы на музыку, также и стихи, певаемые во время литургии... Он имел особую склонность и вкус к акроматическому роду музыки. Сверх церковной, он сочинил многие песни в стихах, и сам играл на скрипке, флейтравере, бандоре и гусях приятно и со вкусом...»

Но сочинения появятся потом. А пока невероятно уставший от мишуры столиц (год в Петербурге, полтора в Москве) Сковорода мечтает вернуться в академию. Московское житье мало чем отличалось от петербургского (разве что вальяжности и барства побольше). Нужен был лишь повод проститься с ним. Наконец, «обвенчав» в Москве летом 1744 года будущую Екатерину II с Петром Федоровичем и «отпев» положенное на грандиозном по такому случаю празднестве, Сковорода (вместе со двором Елизаветы) вернулся обратно в Киев, где и получил – всеми правдами-неправдами – желанное увольнение.

В Москву он попадет всего один раз – в 1755 году.

Петербург не увидит уже никогда...

В его «Саду божественных песен» есть строчки, произросшие из Сираховского «зерна»:
«Умаясь в деяниях своих, мудрость приобретаешь» (песня 12-ая):

*Не пойду в город богатый. Я буду на полях жить,
Буду век свой коротать, где тихо время бежит...
Не хочу ездить за море, не хочу красных одежд.
Под ними кроется горе, печали, страх и мятёж...
Не хочу за барабаном идти пленять городов,
Не хочу штатским саном пугать мелких чинов...
Из всех имений телесных покой и воля злата,
Кроме вечностей небесных, одна мне жизнь свята.*

О дубрава! Как зелена! О моя родная мать!..

Не по душе пришелся Сквороде Город. Но только одними «внешними пороками», которые беспрестанно рвутся вовнутрь Садового кольца или таятся за парадным фасадом Невского проспекта, это неприятие Сквороды вряд ли можно объяснить. Хотя...

В одном из справочников «еще тех партийных времен» прочел весьма занятную заметку. Оказывается, в творчестве Сквороды очень ясно проявилась социальная направленность и критика царствующих в России порядков. Сам философ даже «выступал за интересы народа и призывал покончить с его бесправием». Я долго искал следы этих выступлений – но то ли Скворода так ловко и лукаво заметал их, то ли наш «эрудит» что-то напутал – не нашел почти ничего.

Кроме одной, но очень известной песни. Собственно, это и была песня – ее распевали по всей Малороссии вплоть до середины XIX века, подчас даже не зная имени ее автора:

*Всякому городу нрав и права;
У всякого свои ум и голова...
Тот непрестанно стягает рунта,
Сей иностранны заводит скота.
Строит на свой тон юриста права,
С диспут студенту трежит голова.
Тех беспокоит Венерин амур,
Всякому голову мучит свой дур, —
А мне одна только в свете дума:
Как бы мне не умереть без ума...*

Из «социально-политических» есть лишь одно сопоставление, скрашивающее партийно-советское мышление: «Ты не глядишь, где мужик, а где царь...» Между тем, этот безразличный к регалиям и званиям безумец – совсем не Скворода, а страшная смерть с острой косой, и сильнее ее стали «только тот, чья совесть, как хрусталь чистый».

Этот хрусталь и искал Скворода среди растрескавшихся засаленных глиняных черепков...

Токайский путешественник

«Ныне же желаешь ли быть счастливым? – спрашивал Сковорода у молодого шляхетства Харьковской губернии и сам же отвечал: – Не ищи счастья за морем, не проси его у человека, не странствуй по планетам, не волочись по дворцам, не ползай по шару земному, не броди по Иерусалимам... Счастье втуне везде и всегда даруется...»

Но «ползать по шару земному» Сковороде все же придется – нет, не хождением Афанасия Никитина за три моря, не великим кругосветным путешествием, не интеллектуальным русским туристом на rendez vous. Поехал с родной Украины в чужие края просто потому, что поехал, что выпала оказия, и без которой, собственно, прожить можно, но с которой в определенный момент лучше. Лучше уже хотя бы потому, что круг наук, преподаваемых в Киеве, по словам Ковалинского, «показался ему недостаточным, и он захотел увидеть другие края».

В 1745 году перевернулась еще одна страница его жизни. Причем, случай был совершенно в том же духе, что и история с царской капеллой. Никто не думал, не гадал, а все как бы само собой – «по божественному произволу» – вышло. И так же, как и прежде, биографы ограничились лишь общей канвой, и почти не оставляют шансов прояснить обстоятельства и детали этого пятилетнего путешествия, уступая место всевозможным догадкам и вымыслам.

Михаил Ковалинский рассказывал: «От двора был направлен в Венгрию в Токайские сады генерал-майор Вишневецкий, который для тамошней греко-русской церкви желал иметь церковников, способных к службе и пению. Сковорода, известный знаниями музыки, голосов, желанием побывать в чужих краях, владением несколькими языками, был одобрительно представлен Вишневецкому и взят под его покровительство...»

О знаменитых Токайских садах с изысканными сортами винограда – полная правда. Первую Токайскую торговую миссию для закупок трехсот бочек вина снарядил еще Петр 1 в 1714 году. Через 15 лет в Венгрию, снабженный пушминой на 10 тысяч рублей, поехал впервые и Федор Вишневецкий.

Венгерские вина, рассказывает Ю. Барабаш в книге о Сковороде, доставлялись с огромными трудностями и были удовольствием не из дешевых. Но это ничуть не смущало «веселую царицу» Елизавету, «понимавшую толк в радостях жизни». Она даже высылала в Токай нетерпеливые указы: «А ежели возможно, хотя бы три антала (полубочки) по почте прислать, что здесь такая нужда, что нигде сыскать невозможно, а я обойтятся без оногo не могу, что и вы известны...»

Весной 1745 года Федор Вишневецкий именным указом императрицы отправляется в венгерскую землю с настоящим коммерческим проектом – взять в аренду участки земли в окрестностях Токая и наладить собственное производство вин. Для успешного осуществления данного предприятия ему, естественно, надлежало подобрать себе толковых помощников, в связи с чем он и остановился в Киеве.

Здесь ему, как говорит Ковалинский, и был кем-то представлен одобрительно Сковорода. На этом, собственно, точное и правдивое жизнеописание прерывается.

В качестве кого попал Сковорода в комиссию – не ясно. К примеру, церкви, о которой говорит Ковалинский, тогда в Токае еще попросту не существовало – Вишневецкий поделится с императрицей идеей «открыть маленькую церковь православную» только осенью. Доверимся Ю. Барабашу. Скорее всего, Вишневецкому действительно понравился толковый и образованный киевский «спудей», уже успевший послужить при дворе, откуда был отпущен с почетом и чином; к тому же знаток языков и любитель музыки. Сковорода был взят на особых условиях – например, в качестве доверенного лица. Не обошлось без меценатства – Вишневец-

ский создал Сковороде почти идеальные условия, разрешал ему совершать продолжительные поездки по европейским городам и поддерживал его средствами.

«Путешествуя с генералом, – рассказывал Ковалинский, – он имел случай с его позволения и с его помощью поехать из Венгрии в Вену, Офен, Прессбург и другие места, где, любопытствуя по своей охоте, старался знакомиться больше с людьми, которые тогда славились своей ученостью и знаниями. Он говорил довольно хорошо и особенно чисто по-латински и по-немецки, достаточно понимал греческий, что и помогало ему доставить знакомство и приязнь ученых, а с ними новые знания, которых не имел и не мог получить на родине».

Установить имена славных ученых, с которыми встречался Сковорода, и те города, где он бывал, невозможно. Зато предположений, как и бывает в таких случаях, оказалось более чем достаточно. Так, к примеру, исследователи говорили о возможной поездке Сковороды в Италию: в Венецию и Флоренцию («имеет обычай и Италия молотить волами» – обронит философ в «Кольце»). Говорили вслед за «Большим универсальным словарем» Пьера Ларусса о том, что Сковорода «якобы три года учился в Галле у известного философа Христиана Вольфа (по примеру Ломоносова). Предполагали, что, будучи в Европе, «невероятно, чтобы» Сковорода не побывал в Риме. В общем, предположений о пятилетнем пребывании философа за границей много – доказательств и подтверждений нет.

Нет и заграничных друзей. Вернее, есть один – «заочный» – «привезенный» много позднее Михаилом Ковалинским из Лозанны. «Был там некий Даниил Мейнгард, – писал Ковалинский, – человек отменного природного ума, имевший дар слова, ученость редкую, обширные познания, философское благонравие. Он настолько похож чертами лица, обращением, образом мыслей, даром слова на Сковороду, что можно было посчитать его ближайшим родственником его». Мейнгард приветливо встретил русского путешественника, они быстро привязались друг к другу; в распоряжении Ковалинского был просторный загородный дом, сад и прекрасная библиотека.

«Возвратившись из чужих краев и увидясь со Сковородой в 1775 году, – продолжает Ковалинский, – рассказал ему о той удивительной встрече, в которой нашел в Лозанне человека, похожего на него чертами лица, свойствами, образом мыслей и дружбой с ним. Сковорода заочно полюбил его и с того времени начал подписывать письма и сочинения следующим образом: Григорий вар (сын – евр.) Савва Сковорода, Даниил Мейнгард...»

Впрочем, возвращаясь к заграничному путешествию самого Сковороды, скажем, что закончилась поездка так же, как и началась – оказией. Только на этот раз трагической – в январе 1749 года умер Федор Вишневецкий. Смерть его, несомненно, спутала все карты. Сковорода еще почти два года проведет в Венгрии, «отрабатывая» условия контракта, и лишь осенью 1750 года вернется в Киев...

*О блаженна и свята – удел мой бедность,
Справная мать сердцам, родна и любезна
Всем, кто в море узнал горе и пагубу,
Спокойная гавань...*

В эту гавань и вернулся из чужих краев «наполненный ученостью» Сковорода.

«Прежде чем войти в родную деревню, – пишет о философе В. Эрн, – он по какому-то инстинкту зашел на кладбище и, предаваясь там размышлениям, вдруг наткнулся на свежие могилы. Из надписей он узнал, что отец, мать и брат его переселились в лучший мир».

Сковорода остался один, не зная, куда и зачем идти в пустынном мире...

Пустыми были и его карманы – он жил в крайнем недостатке, «не имея тогда ничего, кроме двух старых сорочек, одного шерстяного кафтана, одной пары башмаков, одной пары

черный гарусных чулок». Поначалу он обитал у своих прежних приятелей, которые и сами были не слишком зажиточны, и в качестве своей помощи подыскивали Сковороде место – например, место учителя поэзии в Переяславле, где философ, правда, долго не задержался. Он возобновляет занятия в академии – 28-летний студент, давно растерявший своих бывших однокашников – в классе богословия под руководством Георгия Конисского.

Пока не случай – киевский митрополит Тимофей Щербацкий рекомендовал Сковороде как лучшего студента помещику Степану Томаре, чье имение Коврай с семьюстами крепостными и десятком сел находилось недалеко от Переяславля. Здесь Сковороде и «был поручен для догляду и науки» помещичий сын Василий...

Коврайский житель

Человечество, увы, не меняется с веками. Великие мысли великих умов с поразительной легкостью растворяются в серой повседневности, вне зависимости от времени и места, подобно многотомному грузовику на площадке Дэвида Копперфилда, оставляя место звенящей пустоте, напомаженной, блестящей, сверкающей. Не успели в России отпеть как следует идеологическую советскую эпоху, как первым голосом в хоре стало чванливое самодурство, украшенное побрякушками, золотым мусором, пакетами акций и пропусками в высокие кабинеты. «Золотой телец» прилизывает многих – положение обязывает и достаток требует.

«Пусть другие заботятся о золоте, о почестях, о сарданапаловых пирах и низменных наслаждениях, – пишет Сковорода в письме к К. Ляшевецкому и отвечает тем самым нашему суетному миру, – пусть ищут они народного расположения, славы, благоволения вельмож; пусть получают они эти, как они думают, сокровища, я им не завидую, лишь бы у меня были духовные богатства...»

Свой «набор сокровищ» имел и Стефан Томара, хотя от природы, как пишет Ковалинский, был наделен «великим умом». «Придерживаясь застарелых предубеждений» и глядя с презрением на все то, что «не одето гербами и не расписано родословными», он считал зазорным даже говорить с учителем своего сына и в течение целого года не удостоил Сковороду ни единым словом. Под стать была и супруга, в которой дурным гордостью выиграла кочубевская кровь ее предков.

«Чувствительным и болезненным было такое унижение человеку, в низкой простоте своей имевшему простое благородное сердце, – рассказывал биограф. – Так Сковорода терпел это все и, невзирая на презрение, исправлял обязанности свои добросовестно. Договор был составлен на год, и он хотел сдержать свое слово».

Возделывать сады ума в головах дураков – занятие безнадежное. Если Сковорода и не отказал сразу (а так он поступал не раз) – значит, была на то своя веская причина: юный Василий Томара. Он сразу привязался к философу «внутренней любовью», имел от природы острый и подвижный ум, так что Сковороде пришлось «только помогать природе вращением направлением легким и нежным». Он не воспитывал и не перевоспитывал – просто вовремя подставлял плечо и подавал руку.

Григорий Варсава не ошибся в ученике, и сам ученик сохранил любовь к своему учителю до конца дней. Василий Томара станет и посланником в Константинополе, и сенатором; он достигнет вершин карьеры, но с этих вершин заглянет в темные глубины душевной бездны. «Вспомнишь ли ты, почтенный друг мой, твоего Василия, по наружности, может быть, и несчастного, но внутренне более имеющего нужду в совете, нежели когда был с тобой, – напишет В. Томара Сковороде в 1788 году. – О, если бы внушил тебе господь пожить со мною! Если бы ты меня один раз выслушал...»

Но пока, в 1753 году в Коврае, вышло недоразумение, обидная нелепость, глупость.

«Однажды, разговаривая со своим воспитанником и видя его любовь к себе, а потому обращаясь с ним откровенно и просто, Сковорода спросил его, что он думает о том, что говорили. Воспитанник в тот раз ответил неправильно. Сковорода возразил ему, что он мыслит об том, как свиная голова. Слуги тотчас донесли пани, что учитель называет их шляхетского сына свиной головой. Мать рассердилась, нажаловалась мужу и требовала мести за такое оскорбление. Старик Томара, зная внутреннюю цену учителя, но поступая по настоянию жены, отказал ему в доме и должности и, впервые заговорив с ним, сказал: «Извини меня, пан! Мне тебя жаль!...»

Свою отставку философ воспринял сократически: «если так произошло, значит так угодно богам». Он снова остался ни при чем; он совершенно не знает, что ему делать. Между тем, никакого потрясения перед открывшейся ему неизвестностью Сковорода не испытывает, не впадает в панику (как это случилось бы со многими из нас), и тем более не ищет суматошно нового места. Он вообще, по словам В. Эрн, «мало интересуется этим вопросом» – что же делать дальше?

Примером тому может служить поездка Сковороды в 1755 году в Москву, в Троице-Сергиеву лавру. «Тут неожиданно представился ему случай», – так в который раз маркирует перемещения Сковороды Ковалинский. «Какой-то приятель его (Владимир Каллиграф, преподаватель Киевской академии) уговорил его ехать в Лавру», – так излагает этот случай В. Эрн.

Кто кому подвернулся под руку – Каллиграф Сковороде или Сковорода Каллиграфу – не имеет никакого принципиального значения. Важно лишь то, что никаких особых дел в Троице-Сергиевой лавре у Сковороды не было, и поехал он в Москву, скорее всего, как раз от нечего делать, праздно, бесцельно (хотя и не бездумно).

Эту поездку бывшего коврайского жителя в лавру не без основания называют «*искушением церковной карьерой*».

Настоятелем лавры был «многоученный Кирилл» (Ляшевецкий), который со временем станет близким адресатом Сковороды. «Сей увидал Сковороду, которого знал уже по слухам, – пишет Ковалинский, – и нашел в нем человека необычайно одаренного в учености, старался уговорить его остаться в лавре для пользы училища».

Сковорода отказывается – ни к чему иному, собственно, бесцельная поездка привести не могла. Не успев приехать, философ уже жгуче тоскует по родному краю. К тому же занятия поэзией кажутся ему более привлекательными, чем преподавание в академии. Любая «деловая привязанность» его тяготит, «думы трудны» и «города премноголюдны» его не прельщают. Что же до монашества, то стоит ли быть настолько безрассудным, чтобы «с безделицы» принимать подобные решения?

Он возвращается – по иронии судьбы, в тот же Переяславль, в те же Ковраи, к тому же Томаре...

Возвращение вышло почти детективным – по меньшей мере, некоторые черты классического жанра сохранились.

«Не успел Сковорода приехать в Переяслав, как разумный Томара поручил своим знакомым уговорить его, чтобы он снова нанялся учителем его сына. Сковорода не соглашался, зная его предрассудки, а еще больше его домашних, но приятель его, упрощенный Томарой, обманом привез его, спящего, ночью в село».

В этом рассказе можно услышать отголоски Третьего Литовского устава 1588 года, который еще распространялся тогда на Украину и согласно которому помещик мог объявить своим крепостным любого, кто хотя бы несколько лет прожил в его имении. Скажем сразу: Томара подобной каверзы не готовил. Ю. Барабаш, приводя эту версию, четко оговаривает, что Сковороде, коврайскому изгнаннику, ничего не грозило, ничто не мешало ему уехать в любой момент, если бы он почувствовал какую-либо опасность.

Так что тайна ночного происшествия – в обычной ночной дороге. Случай, ни к чему не обязывающий – даже в пределах нашего повествования...

«Старый Томара (которому, кстати, тогда исполнилось лишь 35 лет) уже не был тем гербовым вельможей, а ласковым дворянином, который желал ценить людей по их внутренним достоинствам», – рассказывал Ковалинский, рисуя вторичное пребывание Сковороды в Коврае в несколько «розовом цвете». При этом он даже не оставил никакого намека на те обстоятельства, которые привели Томару к столь чудесному перерождению.

Предположений можно делать много. В. Эрн, к примеру, глухо говорит, что в жизни Томары «случилось что-то важное», что «гербовая спесь слетела с него от какого-то жизненного удара». Что это был за удар – на то нет никаких указаний. Вряд ли речь могла идти о каком-либо трагическом событии в его жизни или в жизни его семьи – благо, все живы-здоровы. Скорее всего, над Томарой попросту посмеялись, причем, тем смехом, который перечеркивал гордую карамазовскую исповедь и который был так страшен. На каждое гордычество есть своя насмешка – убийственная, обидная, злая. Выставить Томару дураком не составило бы особого труда – ведь в его доме находился не школяр, не недоучившийся спудей, какого можно шпынять по делу и без дела, а человек, чьи знания и ученость были признаны многими известными людьми того времени и кем нельзя было разбрасываться направо и налево.

Сковорода был нужен Томаре – пусть для престижа, пусть для реноме; пусть подобно золотой бляхе, перстню на пальце или цепи на шее – зато на своей...

Как бы то ни было, Томара «дружески его обласкал, просил быть другом его сына и наставлять его в науках». «Любовь и ласковое обхождение, – продолжает Ковалинский, – всегда сильно действовали на Сковороду. Он остался у Томары с искренним желанием быть полезным, без договора, без условий...»

Собственно, большего от Томары и не требовалось. Сам того не замечая, не зная, он открыл путь Сковороде-философу.

*О, дубрава! О, свобода! В тебе я начал мудреть,
В тебе моя природа, в тебе хочу и умереть...*

Лучший дар человеку – тишина жизни. Ее и искать-то специально не нужно – «всюду тебе даруется». Но мы упорно предпочитаем мчаться, бежать за нею; мы ищем ее в суматохе и сами становимся суматохой; наши мысли вразброс, как горох на полу. «Пора уgomониться! Иначе тебе не придется прочесть ни твоих воспоминаний, ни деяний древних римлян и греков, ни тех отрывков из писателей, которые ты отобрал себе под старость».

Так наставлял Сковороду Марк Аврелий, так приводил его к стоической школе.

В определенной мере справедливо, что философия рождается из успокоенной, уgomоненной праздности, из мерного течения времени; что она рождается в светлых рощах под шелест осенних листьев, под шум дождя, «под музыку серебряных спиц» и изумрудной воды. Она рождается из умного созерцания – достаточно философу «предметно созерцать и мыслить», как скажет много позднее Сковороды Иван Ильин.

Обновленное коврайское житье складывалось для Григория Варсава хорошо, может быть, даже счастливо.

«Часто в свободные от своей должности часы он направлялся в поля, рощи, сады для размышлений. Рано утром заря становилась спутницей в его прогулках, а дубравы – собеседниками его глумлений».

Одиночество располагало к этим «глумлениям» – размышлениям. Ковалинскому это настроение Сковороды передавалось в эпикурейской традиции – нрав своего учителя он называл беспечным, которому чужды треволнения мира, но дороже радостный покой природы. Хотя мир прорывался в этот сад. Сковорода, как и любой другой человек, вынужден был искать «какое-нибудь состояние в жизни». Он искал, но не находил – ни в суетном мире светских забот и забав, ни в монашестве, которое представлялось ему «мрачным гнездом спекшихся страстей», ни в женитьбе, которая хоть и «одобряется природой», но связывает человека накрепко, ибо жена – не лапоть, и с ноги не сбросишь.

«Не выбрав себе ни одного из состояний, он твердо положил на сердце, что снабдит свою жизнь воздержанием, малодовольством, целомудрием, смирением, трудолюбием, терпением, благодушием, простотой нравов, чистосердечием, оставив все искания суетные, все попечения любостыжательства и трудные излишества».

«Утешение и радость, радость и сладость, сладость и жизнь есть то же», – напишет Сковорода позднее, в 1776 году, в книжечке «Икона Алкивиадская»; напишет, словно вспомнит коврайскую безмятежность. Вспомнит и Цицеронова Катона, который «любил в старости пирушки, но растворенные насыщающими сердце мудрыми беседами, начертающими не видимую нигде, а прекрасную ипостась истины, влекущей все чувства и услаждающей...»

«Живи сейчас», – так переводит эту сладость стоик Сенека. А Сковорода упомянул о ней, как упомянул и о платоновской «сладости истины». С этим и жил тогда, в конце 1750-х годов, в Коврае. Жил безмятежно, почти безмятежно...

Страшный сон

«В полночь, ноября 24-го дня, 1758 года, в селе Коврай казалось во сне, будто бы я разглядываю разные забавы людские по разным местностям.

В одном месте я был, где царские палаты, наряды, музыка, танцы; где влюбленные то пели, то рассматривали себя в зеркалах, то бегали из комнаты в комнату, снимали маски, сидели на богатые постели и прочее.

Затем повела меня сила к простому люду, где так же делали, только своим чином и порядком. Люди ходили по улицам с бутылками в руках, шумно, весело, смеясь, как обычно бывает у черного народа; так же любовные дела свои подробным образом справляли. Тут, поставив в один ряд мужчин, а в другой – женщин, рассматривали, кто красивый, кто на кого похожий и кому достоин быть парой.

Отсюда я пошел в постоялые дворы, где кони, упряжь, сено, расплаты, споры и прочее.

Наконец, сила ввела меня в храм некий великий и прекрасный: тут якобы в день сошествия Святого Духа служил я литургию с дьяконом, и хорошо помню, что громко провозгласил: «Ибо свят ты, Бог наш» и прочее до конца. При том на обоих хорах пели: «Святы Боже...» Сам же я, с дьяконом пред престолом до земли кланяясь, внутренне чувствовал сладчайшее удовольствие, которое не могу пересказать.

Однако и здесь человеческими пороками осквернено. Сребролюбие с кошельком таскается и, самого священника не минуя, силой вырывает часть. От мясных обедов, которые подавались в смежных с храмом комнатах, куда из алтаря вело много дверей, во время литургии запах достигал самой святой трапезы.

Тут я увидел следующее ужасное зрелище. Как некоторым недоставало к еде птичьего или звериного мяса, то они одетого в черную ризу человека, имевшего голые колени и убогие сандалии, убитого, в руках держали на огне, колена и икры жарили и мясо со стекающим жиром отрезая и отгрызая, жрали; и сие желали якобы некие служители. Я, не стерпев смрада и сей жестокости, отвернул очи и пошел.

Сон сей не столько усладил меня, сколько устрошил...»

В саду божественных песен

Этот сон, устранивший его, Сковорода записал сразу же и оставил его в своих заметках, перешедших позднее к Ковалинскому. «Через три дня прибудешь в плодоносную свою Пифию», – рассказывал Критону свой сон Сократ, когда тот пришел объявить ему о приговоре. Сон есть божественное откровение, особый знак судьбы, древний оракул – никак иначе и не мог воспринимать Григорий Варсава увиденное.

Этот сон разрушал его коврайское эпикурово счастье.

Да и было ли счастье? Стоило ли покидать веселую и звонкую рощу и уходить в сумрачный лес в поисках своего Вергилия?

Тогда же, в 1758 году в Коврае, Сковорода сложил песню 19-ю на изречение: «Несть наша брань к плоти и крови... Попирай льва и змея... Возьми меч духовный, ибо он есть слово божье...»

Ах ты, тоска проклята! О докучлива печаль!

Грызешь ты измлада, как моль платья, как ржа сталь.

Ах ты, скука, ах ты, мука, люта мука!

Куда не пойду, все с тобой всякий час...

И ждет Сковорода, и ищет Христа – «небесный меч», способный разнести этих «гадких зверей», что точат его сердце; ждет «свыше глас пресладкий, когда возревет». Из этого мучительного ожидания и произрос «Сад божественных песен» – его книга стихов.

Скука скучная, смертная в Сковороде произрастала не меньшая, чем в Александре Блоке. Она кружит вьюгой по сквородиной книге стихов, кровоточит глубокими ранами и укрывает саваном:

*Объяли вокруг мя раны смертоносны,
Адовы бесы обошли несносны,
Нашли страх и тьма!..*

Не его одного и не на него одного. Подобная тьма-тоска устранила Льва Толстого и заставит его бежать невесть куда – лишь бы прочь. У Сковороды она пробирается вовнутрь, таится в нем до поры до времени, жжет его пламенем, пока, наконец, не взрывается:

Откуда-то скука внутрь скрежет, тоска, печаль.

Отсюда несытость, из капли жар горший встал...

Не дает она ему покоя – ни в коврайских «глумлениях», ни в позднем странничестве. В 1785 году старец Григорий Варсава напишет:

*Челнок мой бури вихрь шатает,
То в бездну, то ввысь ввергает.
Ах, несть мне днесь мира...*

«Душа его в борении», – так напишет Эрн и назовет «Сады божественных песен» не иначе, как *подпольем* Сковороды, в душе которого «есть щели и дыры, и дыхание ада, врывающаяся опустошительной бурей, кидает его в разные стороны».

Он плачет – без слез, изнутри, «тайным плачем мира»:

Горе ти, Мире. Смех вне являешь,

Внутри же душою тайно рыдаешь...

Но и внутри – нутро ядом отравлено.

Может быть, и не пристало в «Саду божественных песен» пасть «низким» харьковским басням, но не давал покоя Сковороде один сон, образ африканского оленя – того самого, что питается ядовитыми змеями.

«Один из таких, – рассказывает свою басню Сковорода, – нажравшись досыта змей и не теряя внутри палящей ядом жажды, быстрее птиц в полдень пустился к источникам водным и на горы высокие. Тут увидел Верблюда, пьющего в потоке мутную воду.

– Куда спешишь, господин Рогач? – отозвался Верблюд. – Напейся со мной в этом ручейке.

Олень отвечал, что он мутной воды пить в сладость не может.

– То-то ваша братия чрезмерно нежна и замысловата, а я нарочно делаю мутной: для меня мутная слаще.

– Верю, – сказал Олень. – Но я родился пить самую прозрачную из родника воду...»

«Прорастет» этот образ в «Песнях» – вслед за Захарией и Исайей: «О! Бегите на гору. Восстань, спящий! Покой даст Бог на этой горе»:

*Так африканский страждет олень скорый,
Он птиц быстрее пить спешит в горы,
А жажда жжет внутри, насыщенная гадом
И всяким ядом.
Я на Голгофу поскорей поспею;
Там висит врач мой между двух злодеев...*

Лишь Он, Великий, способен открыть «сердечные пещеры» маленького Григория Варсавы и выпустить «спертую скорбь его духа» – слезами, мучениями, болезнями, испытаниями. Он просит то, что позднее попросит Л. Толстой, так и «не претерпевший за веру» – страданий, креста своего и своего распятия:

Срасни мое тело, спригвозди на крест,

Пусть буду же вне не целый, дабы внутрь воскрес...

Что за смысл беречь «телесных болванов наших», которые без божественного света и чистого живительного источника каменеют, ложатся бетоном и асфальтом на живую траву, живую душу? Если слушать «гласы лестные», то кто избежит сети? Если не увидеть, если не почувствовать себя мертвым Лазарем, заваленным камнями, то откуда же взяться воскресению?

В этом странном движении скрыта совершенно особая метафизика Григория Сковороды, тайна его философской и человеческой природы. «Сковорода не обращается к церкви, – говорит Эрн. – Веря в нее, он не идет к священнику, чтобы душу свою облегчить исповедью и покаянием». Вряд ли его устроит церковное «сораспятие» – ему нужно свое, сковородинское, «пригвождение», свое перерождение, свое обретение нового человека. «Стихийно-природное, – продолжает Эрн, – пройдя через внутреннюю Голгофу, преобразуется в *благодатно-природное*», и только тогда Сковороде открывается безмятежная тишина и небесная лазурь:

*Прошли облака. Радостно дуга сияет.
Прошла вся тоска. Свет нам блистает.
Веселье сердечное есть чистый свет вёдра,
Если миновал мрак и шум мирского ветра.*

Если миновал... Нет, этот ветер останется и в саду божественных песен, пригибая к земле слова и строки, и в жизни самого Сковороды. Но он ждет, он надеется, он верит Исайе: «Про-

растет земля быльем-травой: кости твои прорастут, как трава, и раскиданы будут». В этом перерождении он видит закон природы, и сам готов перерасти заново в божественном саду:

О Бог мой – ты мне сад!..

Душа моя есть верба, а ты для нее есть воды...

Вся философия Сквороды – именно это светлое упорядоченное природное движение, перерождение. Его философия – всецело *произрастание*, наливание соком, качание на ветру, стекание капли благодатного дождя по стеблю. *Его мир – мир отглагольного сущего*. Его мир – это «путь зерна», которое прежде цветет внутрь и которое

За один старый колос

В грядущий летний час сторицей воздаст на плод.

Свой «Сад божественный песен» Скворода возвращал десятилетиями, меняясь сам и обновляя некоторые свои песни. Они начинались в коврайском уединении с его жестокой тоской и сладостью, с душевным мучением и радостью, с ядом мира и «сущим» Августиновым словом – «истреби собственную волю, и истребится ад».

С первых песен, произросших из зерен священного писания, начинается его философия – философия «незаходящего солнца, тьму сердечной бездны просвещающего...»

Игры на свирели

«Земное просвещение», между тем, окажется для Сковороды горьким.

«Яблоню не учи родить яблоки: уже сама природа ее научила. Огради ее только от свиней, отрежь сорняки, очисти гусениц, – так наставлял Благодарный Еродий, птица-журавль, обезьяну Пишек, сидевшую на дереве с двумя своими детенышами. – Воззрим, госпожа моя, на весь род человеческий! У них науки, как на торжищах купля, кипят и метаются...»

На этом торжище придется подвизаться и Сковороде. Хотелось бы сказать, что не по своей воле, да он сам соглашался, «принимал предложение», которое каждый раз оканчивалось неудачей, изгнанием, бегством. Слишком тесны оказывались «ученые лавки» для его знаний и образа мыслей, слишком тесны были отведенные квадратные метры для его просторов, слишком чуждыми оказывались приказчики, распорядители и церемонейстеры.

Первый учительский опыт Сковороды был в Переяславле, куда тамошний епископ пригласил его преподавать поэзию. Сковорода предпринял для такого случая целый проект – написал рассуждение о поэзии и руководство к искусству поэтики. «Оно показалось епископу удивительным и несообразным прежнему старинному обычаю, – рассказывает Ковалинский. – Епископ приказал переменить и преподавать по тогдашнему образу учения...»

Сковорода приказ не выполнил – не мог выполнить. Но вскоре за слушание ему пришлось отвечать – «на суд через консисторию». Отвечал с тем же чувством, что и Пушкин: «не мечите бисер перед свиньями». Разве что «скромнее», тактичнее. Он пояснял суду, что его поэтика основана «на самой природе этого искусства», доказывал. Под конец не сдержался и добавил: *Alia res sceptrum, alia plectrum* – одно дело пастырский жезл, другое пастушья свирель.

– Пусть не живет в моем доме тот, кто творит гордыню, – сделал резолюцию епископ, и Сковорода был изгнан из Переяславльского училища...

В 1759 году, когда пришла пора молодому Василию Томаре закончить домашнее образование и «поступить в другой круг упражнений, пристойных по свету и роду», пришла пора уходить и Сковороде. Через игумена Гервасия Якубовича, с которым Григорий Варсава был дружен, пришло предложение от нового епископа Иоасафа Миткевича, проректора Харьковского коллегиума.

Именно с этим училищем, пусть и с перерывами, будет связано почти целое десятилетие жизни философа.

Поначалу все складывалось совсем неплохо, как, впрочем, и всегда бывает поначалу. В новом курсе пиитики Сковорода сохранил почти все идеи своих прежних размышлений. Все бы ничего, если бы не одно предложение Иоасафа Миткевича, не имевшее к поэзии никакого отношения, сделанное так некстати и не тому. Но прежде, чем мы его озвучим, сделаем одну очень важную оговорку.

Философия Сковороды, вся пронизанная светом Библии, светом эллинской мудрости и наполненная религиозной этикой и самопознанием, – это меньше всего богословие, тем более в его ортодоксальном варианте. Это парадокс, и парадокс очень глубокий. Прот. Г. Флоровский, включая Сковороду в «Пути русского богословия», одновременно и исключает его из богословского пантеона – он относит воззрения философа к мистическому типу «набожно-пиетических настроений» и тем самым приближает Сковороду к масонским кругам.

Конечно, ни к каким масонам Сковорода не относился и ни в каких ложах не пребывал. Суть в другом. Библейский пафос Сковороды смутил многих – искушенные в логике, они потребовали богословия, но не получили его. Они потребовали церковного канона – но именно из этого канона Григорий Варсава и вываливался, как мелкая монета из худого кошелька.

Камнем преткновения в отношениях с белгородским епископом стало «отсутствие в Сковороде церковной традиции». Мы помним, что еще в годы своего ученичества философ оказался в стороне от жарких богословских диспутов. Не это его обжигало, не в этом он искал своего спасения, не стал бы его философский ум «разбираться» с обидчиками на большой дороге. Сковорода живет Христом, как китаец живет Буддой. Он ждет сопряжения, единения – и с божественным светом, и с мучением на кресте; он ищет Его внутри, там, где «душа рыдает»; он готов раздирать колючие проходы к светлым источникам – но только вместе с Тем, для Кого все возможно.

В этом сопряжении посредник не нужен; для Сковороды – невозможен, как невозможен посредник в глубокой и искренней любви, как невозможна сваха для страстного чувства, для «пожара сердца».

«Любовь есть вечный союз между богом и человеком, – поясняет Сковорода в 1766 году. – Сия божественная любовь имеет на себе внешние виды, или значки; они-то называются церемония, обряд, или обряд благочестия. Церемония возле благочестия есть то, что возле плодов лист, что на зернах шелуха, что при доброжелательстве комплименты. Если же сия маска лишена своей силы, в то время остается одна лицемерная обманчивость, а человек – гробом раскрашенным...»

И в этот самый момент Миткевич предлагает Сковороде принять монашеский сан!

На что рассчитывал Гервасий Якубович, пришедший по поручению епископа уговаривать философа принять сан и пойти по лестнице духовенства для «блага, пользы, славы и изобилия»? Чем думал пленить его? Каким средством хотел направить бурный, набирающий силы и произрастающий из каждой новой капли поток в ортодоксальное русло?

«Сковорода, выслушав это, сильно вознегодовал и сказал Гервасию:

– Разве вы хотите, чтобы я пополнил число фарисеев? Ешьте жирно, пейте сладко, одевайтесь мягко и монашествуйте! А Сковорода полагает монашество в жизни нестяжательской, малоудовольстве, воздержанности, в лишении всего непотребного, чтобы обрести нужнейшее, в отвержении всех прихотей, чтобы сохранить самого себя в целостности, в обуздании себялюбия, чтобы удобнее выполнить заповедь любви к ближнему, в искании славы божьей, а не славы человеческой...»

Этот «инцидент» станет причиной первого ухода Сковороды из Харьковского коллегииума. Старый друг Гервасий, не глядя на Сковороду, благословит с досадой философа на дорогу...

Подобный случай «постричь Сковороду» будет не единственным.

В 1764 году Григорий Варсава вместе с Ковалинским приедет в Киев – на каникулы. На время Сковорода стал даже экскурсоводом для своего юного друга – «толковал историю места, древних нравов и обычаев». Пока не дошли до Печерской лавры. Многие знакомые, будучи тогда монахами, буквально напали на Сковороду, обступили его:

– Хватит бродить по свету! Пора пристать к гавани. Нам известны твои таланты, святая лавра примет тебя, как мать свое дитя, будешь ты столп церкви и украшение обители.

– Ах, преподобные! – возразил он с горячностью. – Я не хочу умножать собой столпотворение, довольно и вас, столпов неотесанных, в храмах божьих.

После этого приветствия старцы замолчали, а Сковорода, смотря на них, продолжал:

– Риза, риза! Сколь немногих сделала ты преподобными! Сколь многих очаровала и сделала окаянными. Мир ловит людей разными сетями, накрывая богатством, почестями, славой, друзьями, знакомствами, покровителями, выгодами, утехами и святыней, но всех несчастнее есть последняя. Блажен, кто святость сердца, то есть счастье свое, укрыл не в ризу, но в волю Господа!..

«Монахи-старцы, – пишет Ковалинский, – переменились в лице, слушая это; но колокол позвал их, и они поспешили на молитву...»

Поведение Сковороды – это меньше всего «богоборчество». Да и не могло прийти на ум верному ревнителю Христа подобное отрицание. Другой разговор, что мы видим в его поступках некое «*культоборчество*», противодействие той внешней стороне христианства, которая не могла «прельстить» и никогда не прельщала своей формой, своей семиотикой ищущего «простую глубину» Сковороду. В конце концов, было бы ошибкой говорить даже о «легкой антицерковности» Сковороды – ибо не церковь порочна, а люди в церкви. Григорий Варсава, может быть, и хотел бы их исправить, но...

Впрочем, Сковорода оказался не одинок в своих воззрениях, и это подробно отмечает Ковалинский. На следующий день после «печерского случая» к философу подошел один из монахов, отец Каллистрат, обнял его и сказал:

– О мудрый муж! Я и сам так мыслю, как ты вчера говорил перед нашей братией, но не смел никогда следовать мыслям миом. Я чувствую, что я не рожден к этому черному наряду и введен в него одним видом благочестия, и мучу свою жизнь. Могу ли я?..

Сковорода отвечал:

– От человека не возможно, от Бога же все возможно...

СНЫ СКВОЗЬ ЗАМОЧНУЮ СКВАЖИНУ

«Глупый ищет места, а разумного и в углу видно...»

Как-то королевский Изумруд упрекнул своего собрата Алмаза: что же не думаешь ты о чести и погребенным в пепле живешь, к чему твое сияние, если оно не приносит удивления взору? Алмаз отвечал: «Наше с видного места сияние питает мирскую пустославу. А мы лишь слабый небес список. Цена наша, или честь, всегда при нас и внутри нас».

Изумрудная дымка сна развеется, но подслушанный «разговор» останется. И в справедливости этого разговора Сковороде придется очень скоро убедиться.

Последний харьковский «богословский шум» вокруг Сковороды поднимется в конце 1766 года. К тому времени уже сменится несколько епископов, харьковский коллегиум переживет «кадровую бурю». И не попадаться бы в этот водоворот личных амбиций и притязаний, но все сложится иначе. Григория Варсаву все же уговорят вернуться, не без помощи генерал-губернатора Щербинина, – и он кроме поэтики будет читать курс катехизиса в Дополнительных классах.

Поводом для «теологических распрей» послужит небольшая работа Сковороды, которая впоследствии будет открывать его сочинения; даже не работа, а нечто вроде конспекта лекций – «Начальная дверь к христианскому добронравию», написанная для молодого шляхетства Харьковской губернии.

Ее идея проста. Сковорода толкует десять христианских заповедей. Вот только делает это не в традициях ортодоксального богословия, а по-философски, «по мысленному произрастанию». «Начальная дверь», по сути, и станет тем алмазом в пепле – именно здесь Сковорода выскажет свои любимые мысли, так долго носимые им в душе и не находившие выражения. Здесь будет выточен ключ к пониманию Сковороды, к главным основам его философского мировоззрения. Мы лишь подержим этот ключ в руках, а дальше пусть каждый сам свою дверь открывает...

«Благодарение блаженному Богу о том, что нужное сделал не трудным, а трудное – ненужным. Нет слаще для человека и нет нужнее, чем счастье; нет же ничего и легче этого. Царствие божье есть внутри нас. Счастье – в сердце, сердце – в любви, а любовь же – в законе вечном...»

«Что же есть одно единое? Бог. Вся тварь есть рхлядь, смесь, сволочь, сечь, лом, крушь, стечь, вздор, и плоть, и плетки... А то, что любезное и потребное, есть едино везде и всегда. Но едино все горстью своею и прах плоти твоей содержит... Бог и счастье – недалеко они. Близко есть. В сердце и в душе твоей...»

«Весь мир состоит из двух натур: одна – видимая, другая – невидимая. Видимая натура называется тварь, а невидимая – Бог...»

«Важнейшее дело божье есть: одну беспутную душу оживотворить духом своих заповедей, чем из небытия произвести новый земной шар, населенный беззаконниками...»

«Закон божий есть райское дерево, а предание – тень. Закон божий есть плод жизни, а предание – листвие...»

С этим и пойдет Григорий Сковорода в свое долгое странствие и ни одному из высказанных когда-то заветов не изменит. К слову, почти через 15 лет он вернется к «Начальной двери», перечитает заново и обновит ее, подобно как новой краской покрывают старые доски.

Но пока подобное «вольнодумие» не осталось незамеченным и вызвало неудовольствие нового епископа Самуила Миславского. Для Григория Варсавы, кстати, не такого уж и «нового» – бывший однокашник, как-никак. Миславский с достопамятных времен всегда уступал Сковороде и в знаниях, и в подвижности ума – «как ни старался». Теперь же повод вышел – и епископ счел подобные рассуждения о Боге и божественном в устах светского чело-

века, не желавшего «стричься», за «похищение власти и преимуществ своих» и «разгневался на него гонением».

Была здесь и личная обида, и сам Сковорода дал епископу «бунтовской повод». Ведь говорил определенно: *«Весь мир спит, да еще так спит, как сказано о праведнике: аще падет, не разобьется... Спит глубоко протянувшись. А наставники, пасущие Израиля, не только не пробуживают, но еще поглаживают...»*

Сковорода, защищая свою книгу, дает хорошую отповедь: разве шляхетству, которое из детского недомыслия уже выросло и жаждет думать, «прилично иметь мысли о верховном существе, какие есть в монастырских уставах и школьных уроках»? Но Миславскому ничего не докажет – да и хотелось бы, как говорить, ноги ломать...

Впрочем, вся эта история замешана, по большому счету, не на «расхожем богословии», да и иные «диспуты» были куда горячее. Дело – в непохожести, в оригинальности, в «выпадении из всемирства».

Стоит ли удивляться, что из Харьковского коллегіума Сковорода выпадет и подавно?..

Портрет со стороны

Каким видело Григория Сковороду молодое харьковское шляхетство? М. Ковалинский охотно и подробно рассказывает об образе жизни Сковороды в Харькове:

«Отличный образ его мысли, учения, жизни скоро обратили на него внимание тамошнего общества. Одевался он пристойно, но просто; имел еду, составленную из трав, плодов и молочных блюд, употреблял ее вечером, после захода солнца; мяса или рыбы он не ел не по суеверию, но по своей внутренней потребности; для сна он выделял времени не более четырех часов в сутки; вставал до зари и, когда позволяла погода, всегда ходил пешком за город прогуливаться на чистый воздух и в сады. Всегда весел, бодр, легок, подвижен, воздержан, целомудрен, всем доволен, благодушен, унижен перед всеми, словоохотлив, когда не принужден говорить, из всего выводящий нравоучение, почтителен ко всякому состоянию людей; посещал больных, утешал печальных, делил последнее с неимущими, выбирал и любил друзей по сердцу их, имел набожность без суеверия, ученость без кичливости, обхождение без лести...»

«Сковорода, держась приличия того лица, которое он избрал представлять в театре жизни, всегда сторонился знатных особ, больших обществ и чиновных знакомств, – продолжает Ковалинский. – Любил бывать в малом кругу непринужденного обращения с людьми откровенными. Предпочитал чистосердечное обращение больше всех ласкательных приемов, в соображениях всегда занимал последнее место, ниже всех, и неохотно начинал беседу с незнакомыми, кроме простолюдинов...»

Такое поведение целиком было оправдано природной философией и природным мышлением Сковороды. Он, по сути, получил огромное преимущество перед остальными, отказавшись от того, что составляет смысл и сущность их жизни, отказавшись от ежедневной суеты и сутолоки в поисках новых богатств и знакомств, от теплых и доходных мест и почестей, соответствующих чину. Эти «задачи» не входили в круг его мысли, а потому оставались шелухой вокруг зерна, как шелухой остается и всякого рода экстравагантность, эпатаж, выставка.

Скорее всего, Сковорода мешал совести многих и мышлению многих; он был неудобен, непонятен, неповторим, независим. Немудрено, что «ложь и порок вооружили на него орудия свои...»

Философ не питал иллюзий, что его жизнь в Харькове окажется спокойной. И дело даже не в случайных глупых шпильках, бесконечных комарах, что тучами поднимаются из мокрой травы. На колкости и сплетни Сковорода не обращал внимания (точнее, старался не обращать) и даже говорил Ковалинскому: *«Я очень доволен, что не нравлюсь таким мерзавцам. Поверь мне: похвально не нравится дурным. Злословят ли они или негодуют, ты упорно продолжай идти по пути добра, а прочему не придавай значения и презирай их, как болотных лягушек...»*

Между тем, не придавать значения можно было лишь до поры до времени. Злословие в адрес Сковороды становилось все сильнее. Вообще, 1768—69 учебный год, по словам Ю. Барабаша, стал «кульминационным моментом травли Сковороды». На первые роли, как и следует в подобных «богословско-философских ситуациях», вышли обвинения в ереси.

За примерами далеко ходить не нужно. Только назовет Сковорода золото, серебро и прочие драгоценности вредными и ненужными, как тут же его объявят богохульником: ибо создавая мир, Бог не мог сотворить ничего вредного, во всем есть божий промысел и польза. Не желает Григорий Варсава вкушать вина и мяса, осуждая их употребление, – и вот уже готов упрек в манихействе. Сторонится философ людей и скрывается от них – чем не повод упрекнуть в человеконенавистничестве и в отступлении от предписанной любви к ближнему.

Мы, по сути, еще даже не коснулись ни одного его религиозно-философского тезиса, а «логика клеветников» уже готова сжечь Сковороду за еретические взгляды.

В конце концов, Сковорода все же не выдержит и напишет своему другу Василию Максимовичу такое письмо:

«Вы, друг мой, думаю, поверите, сколь злобных я имею оглагольников. Если бы они обычные мне беззакония приписывали, сносно бы было. Но сии немилосердники столь неограниченным дышут на меня языковредием, что кроме чрезвычайной моих нравов порчи, от них проповедуемой, делают меня душегубителем, или еретиком, и по сей причине запрещают подкомандным своим слушать мои разговоры. Сего я не терпя, сделал краткое очищение, которое вам, другу моему, посылаю. Оно хотя лаятельных их челюстей заградить не может, однако, думаю, понесколько сделает косноязычными, дабы незлобивые и правые сердца меньше от сего соблазнов претерпевали...»

13 апреля 1769 года, как следует из донесения директора классов, Сковороде рассчитают – выдадут «заслуженного жалования дватцать три рубли» и отправят на все четыре стороны. Теперь он оставит Харьковский коллегиум уже навсегда, и своим уходом «закроет» целую эпоху своей жизни.

Человеческая память избирательна и легко расстается с различными неурядицами. Харьков, этот тогда еще молодой полковой город Слободской Украины, в сердце Григория Варсавы поселится навсегда, он станет той самой «любовью к месту», которая не проходит с годами, а любые путешествия и странствия лишь подчеркивают ее красоту и питают ее силу.

Из Харькова Сковорода вынесет еще одну любовь – искреннюю и глубокую дружбу с Михаилом Ковалинским...

Сон кузнечика

Все, что происходит в нашей жизни, в ее суетной ежедневности, мы привыкли называть стечением обстоятельств. В этом нет особого лукавства, да и под обстоятельства можно записать все, что угодно: и случайную встречу, и опоздавший автобус, и падение курса рубля, и плохое настроение начальства, и внезапно приехавшую тещу, и вместе с тем случайно разлитое Аннушкой масло – обстоятельство, до самого последнего момента не имевшее для булгаковского героя никакого судьбоносного значения.

В этом смысле, встреча Михаила Ковалинского со Сковородой в начале 1760-х годов могла бы остаться одной из всевозможных встреч, которые теряются в памяти уже через пять минут. Встреча – воля случая; все дело в том, насколько эта воля слаба или сильна, насколько она «устала» от броуновского движения, так бесполезно сталкивающего людей между собой.

Внешне, в этой встрече не было ровным счетом ничего примечательного; она и складывалась бесцветно. Со Сковородой, об удивительной жизни которого уже тогда ходили всевозможные слухи, искали знакомства многие. Один из таких, найдя Сковороду в уединении в старице, попросил его, чтобы философ, если будет в Харькове, познакомился бы с его племянником и «не оставил бы его добрым словом».

В Харькове, рассказывал Ковалинский, «придя посетить училище и увидев там нескольких незнакомцев, Сковорода спросил, не находится ли тут такой-то, племянник NN. Тот молодой человек случайно был среди них, и знакомые сказали Сковороде, что вот он самый и есть...»

За погляд денег не берут – смотринами могло бы все и завершиться. Кстати, так подчас и происходило, и сам Ковалинский такие эпизоды приводит. Так, к примеру, приехал к Сковороде молодой человек, некто из начальства Орловской губернии, и приветственно сказал:

– Г.С.! Прошу полюбить меня.

– Могу ли полюбить вас, – отвечал Сковорода, – я еще не знаю.

Другой из числа таковых же, – продолжал Ковалинский, – желая завести с ним знакомство, сказал ему:

– Я давно знаю вас по сочинениям вашим; прошу доставить мне и личное знакомство ваше.

Сковорода спросил его:

– Как вас зовут?

– Я называюсь так, именем и прозвищем NN, – отвечал тот.

Сковорода, остановившись и подумав, сказал ему:

– Имя ваше не скоро отложится на моем сердце...

Скорее всего, не был чем-то особенным и юный студент Михаил Ковалинский – они бы пересеклись, не сошедшись», и не стали бы колос к колосу, сердце к сердцу. Поэтому то, что произошло «на смотринах» в харьковском училище дальше – не событийно, а в глубине – в одночасье превратилось из случая в нечто иное.

«Сковорода, посмотрев на него, – рассказывал о себе в третьем лице Ковалинский, – возлюбил его и любил до самой смерти. После увидел тот молодой человек, что случай такой был устроен ему перстом божьим».

«Любимый кузнечик» Григория Варсава увидел это во сне. Во сне, о котором Ковалинский за тридцать лет своей дружбы со Сковородой так и не отважится рассказать философу, и лишь позднее опишет в биографических записках этот сон как «странное происшествие».

«1763 года, будучи занят размышлениями о правилах, внушаемых мне Сковородой, и находя, что они в моем уме несогласны с образом мыслей других, желал искренне, чтобы

кто-нибудь просветил меня в истине. Находясь в таком положении и очистив по возможности свое сердце, я видел такой сон:

Казалось, что на небе, от одного края до другого, по всему пространству, были написаны большими золотыми буквами слова. Все небо было голубого цвета, и золотые слова не только снаружи блестели, но и внутри сияли прозрачным светом, и не совокупно написаны были по лицу небесного пространства, но складами, по слогам, и содержали следующее точным образом: па-мыть – свя-тых – му-че-ник – А-на-на-я – А-за-ри-я – Ми-са-и-ла.

Из золотых слов сыпались огненные искры, подобно тому, как в кузнице и раздуваемых сильно мехами угольев, и падали стремительно на Григория Сковороду. Он стоял же на земле, подняв вверх прямо правую руку и левую ногу, в виде проповедующего Иоанна Крестителя, которого некоторые живописцы изображают в таком положении тела и каковым Сковорода тут же мне представился.

Я стоял близ него, и некоторые искры из падающих на него, отскакивая, попадали на меня и производили во мне некоторую легкость, раскованность, свободу, бодрость, охоту, веселость, ясность, тепло и неизъяснимое удовольствие духа. Я проснулся, исполненный сладчайшего чувствования...»

Рано утром Ковалинский пересказал этот сон, это странное видение, почтенному и добродетельному старцу, троицкому священнику Борису, у которого снимал квартиру. Старик, подумав, ответил ему с умилением:

– Ах, молодой человек! Слушайте вы этого мужа: он послан вам от Бога быть ангелом-руководителем и наставником...

«С того часа молодой человек предался всей душой дружбе Григория, и с этого времени я в продолжении данного писания буду называть его другом по превосходству...»

Этот сон будет иметь для Михаила Ковалинского свое продолжение – летом 1794 года, за два месяца до смерти Сковороды. Григорий Саввич гостил у Ковалинского в деревне и «пересказал полностью всю свою жизнь». В рассказе он упомянул тот самый, пришедший в детстве и напевный в уединении по всей жизни стих Дамаскина: «Образу золотому, на поле Деире служимому, три твои отроцы не берегоша безбожного веления...» Прежде Сковорода ни разу об этом любимом стихе своему другу не рассказывал.

«Друг, услышав это тогда и приведя себе на память виденное им во сне тридцать один год назад, в молчании удивлялся чудесной гармонии, которая в различные лета, в различных местах то одному в уста, то после другому в воображении предстала, – писал Ковалинский и следом этот стих истолковывал. – Золотой образ, на золотом поле Деире служащий, есть мир этот, поле Деирово – время, печь огненная – плоть наша, распяемая желаниями, похотями, суетными страстями... Трое отроков, не послужившие твари и не согласившиеся поклониться золотому идолу, есть три главные способности человека: *ум, воля и действие*, не покоряющиеся духу мира сего, во зле лежащего...»

Письма Григоря Сковороды Михайло Ковалинскому

Сорокалетний Сковорода застал Ковалинского в цветущую пору мысленных шатаний, разброда, поиска, противоречий. Эта «возбужденная борьба мыслей» не давала ему покоя, а «предрассудки, возбуждаемые различием мыслей, не позволяли искоренить сомнения» относительно своего духовного наставника.

Ковалинский вспоминал и то, что «прочие учителя внушали ему отвращение к Сковороде, запрещали ему водить знакомство с ним, слушать его разговоры и даже видеться с ним». Однажды и сам Сковорода в одном из писем к Ковалинскому заметит, что это общение возложило на юношу «груз невыносимой зависти»: *«Я вижу твою большую любовь ко мне, когда ты предпочитаешь лучше терпеть зависть и ненависть черни, чем прервать наши отношения и беседы»*. И следом философ говорит, что придется удержаться от писания писем, уступив толпе, чтобы как-нибудь не навредить своему юному другу.

Но «пошлость черни», пораженной завистью и ненавистью, – лишь внешний фон отношений. Сила личности Сковороды и пленяла, и пугала одновременно. Поэтому и пишет Ковалинский, что «любил сердце его, но пугался разума его; почитал жизнь его, но не мог понять умом рассуждений его; уважал добродетели его, но избегал мнений его; видел чистоту нравов, но не понимал истину разума его; желал бы быть другом, но не учеником его...»

Быть учеником Сковороды – то же, что и быть учеником Сократа: либо повторить путь Сократа, либо не быть его учеником. Слушать Сковороду – еще не значит слышать Сковороду. Понять его – значит, самому стоять на земле под золотыми искрами небесного алфавита. Требовать такой решительности повернуть свою судьбу вспять от молодого человека, в голове которого еще полный кавардак, невозможно и не нужно. Как не нужно требовать того же от многих, счастливых и радостных мирским счастьем своим.

Сократа пересказывали многие – учеников не было. Сковороде удивлялись – но учеником его быть не хотели.

Интуиция Ковалинского очень точно вычертила эту грань между Сковородой и миром, даже миром, близким Сковороде по духу, приносящим ему радость. Переступить эту грань и повторить сократический путь – перспектива заманчивая, даже героическая. Но именно такое искушение и сжимало юные мозги до одной ясной, простой и, быть может, спасительной и судьбоносной мысли – Михайло Ковалинский хотел жить жизнью Михайло Ковалинского.

Сковорода это чувствовал, как когда-то чувствовал «светлую жестокость» заповеди: «Блажен, кто не соблазнится обо Мне...»

Он не стал ломать, перестраивать, перекраивать «наидражайшего Михайло» – оставил таким, как есть. Почти таким...

«Молодой человек, воспитывавшийся до этого полуграмотными школьными учителями, частью монахами, в руках которых тогда находились святилища наук, часто слышал от Сковороды противное и не мог согласовать в понимании своем новые правила со старыми», – рассказывал о себе Ковалинский.

Да, «все книгочеи-учителя, да и весь свет, словом и делом убеждали его, что счастье человека состоит в том, чтобы иметь всего много: много еды, много питья, много одежды и в утехх праздно веселиться», – а Сковорода отвечал, что все это не нужно, чтобы действительно быть счастливым.

Да, «философы, которые учили молодого человека, толковали ему, что к одному состоянию жизни больше привязано благословение Бога, к другому – меньше», – а Сковорода отвечал, что все состояния хороши, и Бог никого не обидел, а проклял же только «сынов противления, которые вступают в состояния по страстям».

Да, «всемудрые учили его, что Марк Аврелий, Тит, Сократ, Платон и другие славные в древности великими делами и сердцем люди должны были быть несчастливы, потому что не имели исторического знания про вещи которые случились после них» и не было им святого благовествования, – Скворода же отвечал, что у всех тех мужей был высший дух, и заслуживают они уважения за последовательную любовь к истине; и поскольку Бог есть истина, то они были верные его слуги...

Стоит ли удивляться смятению в голове юного Ковалинского!

«Стараясь перевоспитать его и желая больше и больше дать ему образ истины, он /Скворода/ писал к нему письма почти ежедневно, чтобы побудить его к ответу, хоть кратко, приучить его мыслить, рассуждать, изъясняться справедливо, точно и прилично». Ковалинский отвечал – Скворода писал письма вновь и вновь, передавая их любимому другу через деревенского мальчишку Максимку.

С этих писем – а с 1762 по 1764 годы их сохранилось более семидесяти – было бы ошибкой требовать стройной системы воспитания. Да ее и не могло быть у Сквороды, который сам находился на полпути. В письмах к Ковалинскому все – штрихами, подчас бегло, по поводу, случайно; все в них – разрозненное мозаичное стекло; все – зерна, брошенные в пашню: даст бог, когда-нибудь прорастут...

Вся переписка – апология дружбы. Она – предмет лелеемый, нежный, чистый; она – пристрастие Сквороды.

«Я принадлежу к тем, кто настолько ценит друга, что ставит его выше всех иных друзей и признает лучшим украшением жизни... Если у меня есть друзья, я чувствую себя не просто счастливым, а счастливейшим. Что же удивительного в том, что для меня нет ничего сладостней, чем вести разговор с другом? Только б Бог укрепил меня в мой честности, только б он сделал меня достойным человеком, себе дружественным, ибо добрые люди – друзья божьи и только среди них сохраняется высший дар, что есть настоящая чистая дружба. Ко всему прочему мне нет никакого дела...»

Понимание дружбы у Сквороды эллинское, потому он так часто берет в свои «философские спутники» Плутарха, который благодарил бога за то, что тот, «примешав к жизни дружбу, сделал так, чтобы все было радостно и приятно». Радость дружбы даже внешне подчас оказывалась удивительной – однажды, выходя из храма и увидев Михаила, философ засмеялся и так, что Ковалинскому показалось, что он смеялся «сильней, чем было на самом деле». Юноша тогда просил объяснить причину смеха. «Ты спрашивал, а я не сказал тебе причины, да и теперь не скажу; скажу только то, что смеяться позволительно было тогда, позволительно и теперь: со смехом писал я это письмо...»

Скажет, объяснит, причем, попросит не смеяться тогда, когда он говорит о смехе:

«Смех есть родной брат радости настолько, что часто подменяет ее... Почему я был весел вчера? Слушай же: потому что я увидел твои радостные глаза, я, радостный, приветствовал радующего радостью... Ибо какой чурбан не посмотрит с радостью на счастливого человека и к тому же друга».

Радость дружбы произрастает из глубины и не требует для себя какого-либо антуража. Никакое расстояние и никакое пресыщение, по словам Сквороды, не уменьшает ее сладости – напротив, увеличивает ее. Такие размышления, как признавался философ, «не последнее место занимают среди тех, которыми я обычно пытаюсь украсить свою жизнь». В глубине дружбы – любовь, и Скворода подчас отождествляет эти слова. Да и не отождествлять то, в основе чего лежит божественный свет, невозможно. Те, кто лишен любви, представляются Сквороде «лишенными солнца и даже мертвыми». Но и сама любовь должна быть истинной, прочной и вечной:

«Любовь никоим образом не может быть вечной и прочной, если рождается из тленных предметов, то есть из богатства и прочего. Прочная и вечная любовь возникает из родственной схожести вечных души, которые укрепляются их добродетелью и не подвержены разрушению. Ибо, как гнилое дерево не склеивается с другим гнилым деревом, так и между негодными людьми не возникает дружбы. Поэтому если тебе моя любовь дорога, то не бойся, что она пройдет...»

Но дружба, как и жизнь, – бесконечная схватка, и врагов у нее предостаточно. И следует, по словам Сковороды, более всего заботиться о том, чтобы «не заключить волка вместо овцы, скорпиона вместо рака, змею вместо ящерицы», ибо нет ничего опаснее и ядовитее, чем притворный друг.

Разговор о льстецах – кровь от крови философия Сковороды, даже если он чаще всего приносит Ковалинскому в письмах «цветочки из Плутарха» на эту тему, и называет вслед за древним философом такие отличительные черты льстеца, как изменчивость и непостоянство. «Он подобно обезьяне подражает другим до тех пор, пока не получит того, чего домогался», и выявить его зачастую бывает сложно, так как льстецы, по словам Плутарха, бывают разные – открытые и скрытные. Поэтому Сковорода так подробно поясняет это своему другу:

«Один шатается у стола богатых, мелет вздор, шутит, льстит, смеется. А другой, прикрывшись маской серьезного мужа и мудреца, выдает себя за надежного мудрого советника... Первый стремится к тому, чтобы по-нищенски выпросить пищу и напитать чрево чужими обедами. Другой, как змея, вкрадывается в доверие, выведывает тайны, стремится к тому, чтобы причинить вред простому и неосмотрительному человеку и даже совсем его погубить. О, подлинно адская змея. Я сам испытал укусы шести или семи таких ядовитых гадюк...»

Он не рассказывает в письмах о том, как это было и кто эти люди. Он просто констатирует опыт, не называя, не раскрывая его.

Чтобы увидеть льстеца, необходимо особое зрение, чутье, осторожность. Но Сатана увлекает в волны даже осторожных людей...

Вот и рассказывает, не рассказывая, о себе Сковорода молодому Ковалинскому:

«Сколько морального вреда принесли мне посланцы дьявола, обманув меня. Как хитро они вкрадываются в доверие, так что только через пять лет это почувствуешь. Ах! Воспользуйся хоть моим опытом! Я тот моряк, который, будучи выброшен на берег кораблекрушением, других своих братьев, готовящихся проделать тот же путь, робким голосом предупреждает, каких сирен, каких чудовищ им следует остерегаться и куда держать путь. Ибо другие потонули и отошли в вечность...»

Однажды Ковалинский попросил Григория Саввича дать ему совет «относительно планов жизни» и с какими людьми поддерживать отношения. Сковорода улыбнулся и ответил коротко – с хорошими. Но оговорился, что хороших людей, добрых сердцем и чистых душой, меньше, чем белых ворон, и потребуется много фонарей Диогена, чтобы найти такого человека среди лживых и пустых притворщиков, наполняющих наш мир.

«Поэтому правильной всего, я считаю, приобретать друзей мертвых, то есть священные книги...»

И письмо прерывается звоном колокола, который позвал философа в греческий класс...

Библия – сердце, античная философия – разум. Для Сковороды это – непререкаемое единство. И он с этим единством продирается сквозь восприятие древнегреческой культуры как культуры языческой, христианина не достойной. Его философское мировосприятие принимает античного философа как пророка истины, как толмача истины, как искателя истины – и последнее, пожалуй, самое ценное. Этика философского поиска не может жить пренебрежением, не может не требовать от Сковороды обязательства включить в свою орбиту и греческую

пифагорейскую традицию, и платоников, и поздних римских стоиков. Она заставляет философа, выступившего учителем, требовать такого же священного трепета перед древней мыслью и от других.

«Имей ввиду, – предупреждает он Ковалинского, – что наиболее ясным доказательством твоей любви ко мне будет твоя любовь к греческим музам, и если тебе дорога наша любовь, то знай, что она будет продолжаться до тех пор, пока ты будешь чтить добродетель и эллинскую литературу...»

Это был почти ультиматум. Сковорода присылал своему другу фрагменты из сочинений Плутарха, Платона; в его письмах множество греческих слов, иногда с пояснениями; он предлагал другу свою помощь и предупреждал, что изучать античную литературу нужно медленно – «медленная непрерывность накапливает большую массу, чем можно предположить».

Чуть позднее Сковорода оговорится и «пожалует» юного Михаила:

«Признаюсь тебе в моей к тебе привязанности; я тебя любил бы, даже если бы ты был совсем безграмотным, любил бы именно за ясность твоей души и за стремление ко всему честному. Теперь же, когда я вижу, что ты вместе со мной увлекаешься писаниями греков и той гуманитарной литературой, которая вдохновляет на все прекрасное и полезное, то в моей душе утверждается такая день ото дня возрастающая любовь к тебе, что для меня нет в жизни ничего приятнее, как разговаривать с тобой...»

«Гуманитарная литература», за исключением «сицилийских шуток», становилась их прибежищем. Сама эпоха брожения российской культуры оказалась поэтичной. «Если бы можно было писать так же красиво, как мыслить!» – восклицал Сковорода и пытался ввернуть свои мысли символической строке стихотворения. А юность Ковалинского, как и юность вообще, требовала поэзии.

Переписка будет буквально наполнена стихами. Иногда даже ради версификаторства на бумагу ложились изящные строки:

Я зашел в гавань, прощайте, надежда и счастье!

Хватит вам мучить меня, играйтесь теперь с другими...

Из гомеровского стиха они будут переложены ямбом, затем «двойным размером» и «чередующимися строфами». Сковорода даже опасается, что «наделал ошибок», но тут же извиняет себя: «*Лучшая ошибка та, которую делают в учении... А ошибки друзей мы должны исправлять или терпеть, если они не серьезные.*»

Сковорода исправлял. Однажды, еще в самом начале знакомства, подправил размер стихов, которые переслал ему юный Ковалинский. А следующим письмом пришлось спрашивать:

«Мой Михайло! Скажи мне искренно и откровенно, сердисься ли ты на меня или нет? Неужели ты потому не прислал мне ни одного письма, что я признал твои стихи несколько неотделанными? Наоборот, тем чаще их присылай. Ибо кто же сразу рождается артистом?..»

Терпения и усидчивости молодому человеку, к счастью, хватало. Может быть, даже излишне, если Сковороде в буквальном смысле приходилось осаживать юношу: не стоит столь усердно грызть гранит науки, иначе зубы сломаешь.

О здоровье своего друга Сковорода вообще справлялся очень часто. Если долго нет писем – уж не заболел ли; если вдруг не явился в училище – уж не простыл ли? По-дружески и вместе с тем по-отечески предупреждал его:

«Не слушай неосмотрительно случайных людей, что рекомендуют тебе то или другое лекарство. Ни в одной отрасли нет такого великого количества знатоков в народе, как в медицине, и нет ничего такого, про что народ бы так мало знал, как про лечение болезней. За исключением распространенных простых лекарств, отвергай все. Кровопусканий и слаби-

тельных избегай, как ядовитой змеи. И если хочешь, зайди ко мне, и мы с тобой об этом поговорим...»

Ранней простудной весной Сковорода писал Ковалинскому, что некогда Гален, второй после Гиппократата великий врач, советовал в весенние дни поменьше спать и есть холодную пищу, поскольку «из горячей пищи развивается излишняя влага», а отсюда насморк – отец всех болезней. Приводит в пример и Плутарха, который также писал о «влажных материях» в организме, где скапливаются нечистоты: «Огонь ищет только то место, где он чувствует присутствие нефти: так болезнь, всякая зараза и воспаление не могут пристать, когда тело прохладно, лишено слизи и наподобие пробки легко». Приводит в пример и Сократа, который среди чумы остался невредим потому, что привык к святому образу жизни, к простой и умеренной пище.

«Лечение жс в том, чтобы быть веселым и бодрым. Но мать этого есть трезвость... Не будет трезвым и тот, кто перегружает себя едой, хотя бы он и трезвенник. О, как я был глуп, что так навредил своему здоровью, поддавшись в молодом возрасте влиянию распущенных товарищей...»

«Пока ты соблюдаешь трезвость, – Сковорода выводит юношу „за пределы носового платка“, – у тебя сохраняются и здоровье, и стыдливость, и репутация. Тебя подстрекают к невоздержанности? Но ты отбрось порочный стыд и ответь отказом...»

Наряду с невоздержанностью порочна и чрезмерность, причем, даже в тех случаях, если речь идет о делах благородных, полезных. *«Сохраняй меру в бдениях и трудах своих, – учит Ковалинского Сковорода, – и тогда приобретешь духовное, но берегись, как бы не убить то плотское, которое может привести тебя к божественному»*. Эту меру Сковорода объясняет очень просто: если человек в одну из ночей из-за неумеренных бдений повредит себе глаза, то как же он будет читать книги и беседовать со святыми? *«Разве не дурак тот, кто в начале долгого пути не соблюдает меры в ходьбе? Несомненно, этот не дойдет до Иерусалима: болезнь или смерть прервет его путешествие...»*

Рвение, не знающее меры, приводит к беде. Так, в отношении поста Сковорода спрашивает своего друга: не дурак ли тот, кто совсем ничего не дает телу и готов в своем рвении запостить себя до смерти? И отвечает: *«Сокращай лишнюю пищу, чтобы не проявлялся твой необузданный осленок, то есть плоть, но, с другой стороны, не убивай его голодом, чтобы он мог нести седока»*. Прекрасные вещи, говорит Сковорода, без меры становятся дурными.

То же самое касалось, например, общения. *«Ты избегаешь толпы? Сохраняй меру и в этом. Разве не дурак тот, кто избегает людей так, что совершенно с ними не говорит? Такой человек безумец, а не святой. Просто смотри, с кем говоришь и общаешься»*.

«Все в меру» – об этом божественном правиле душевного здоровья и спокойного миропорядка Сковорода рассказал своему другу уже в первых же письмах: *«Излишество порождает пресыщение, пресыщение – скуку, скука жс – душевное смятение, а кто страдает этим, того нельзя назвать здоровым...»*

Невоздержанность и чрезмерность являются для Сковороды своеобразными и философскими, и этическими категориями, теми самыми доказательствами от противного, на основе которых строится его учение о душевном здоровье, спокойствии и счастье. Легко написать – обуздай страсти, и нет ничего сложнее, чем выполнить это действие. Остановишь страсть внешне – она уйдет в глубину и будет точить ядовитой водой твои члены.

В письме к Ковалинскому от 23—26 января 1763 года (одно из моих любимых писем) об этом будет сказано особенно четко. Более того, сам стиль письма – суть метод философского творчества Сковороды, образчик будущих его трактатов и диалогов.

«Взойди на высокую башню и раскрой в своей душе то, что волнует чернь. Ты увидишь, что один страдает чесоткой, другой – лихорадкой, третий – подагрой, четвертый – эпилепсией, пятый – водянкой; у одного гниют зубы, у другого – внутренности; некоторые до того

жалки, что кажется, будто они носят не тело, а живой труп. Я уже не буду говорить о более легком: о кашле, изнурении, зловонном дыхании и подобном. Из таких-то и состоит мир, то есть из прокаженных членов.

Если ты и видишь среди них людей со здоровым телом, то и эти последние принадлежат к тем, кого уже тайно поймали в сети...

Мы этих больных избегаем и правильно делаем: чтобы они не заразили нас своим прикосновением. Однако мы охотно продолжаем общаться с теми, которые до сих пор здоровы, но умы которых уже повреждены и напитаны ядовитыми учениями. Но мы не заболели бы телом, если бы не заболели ранее душой. Что пользы удаляться от нечистого и зловонного блудника, если общаешься с теми, кто отмечен духом блудодеяния...

Ты избегаешь того, кто от пьянства становится безумным, но не остерегаешься чревоугодника, который своим примером призывает тебя к несвоевременному и неумеренному мясоедению и винопитию. Зачем же ты избегаешь реки, но к источнику приближаешься? Боишься пожара, но ищешь огня? Проклинаешь уголья, но ходишь по искрам и горящей золе?..»

И хочется, и колется – таков в просторечии глубинный парадокс мировосприятия, выложенного Сквородой в письмах перед юным Ковалинским в виде различных искушений, неизбежно преследующих юность, ибо «никогда не спит этот лев – дьявол».

«Что же тебя грызет? – спрашивает он у молодого друга. – Не то ли, что не принимаешь участия в попойках с обжорами? Что в палатах князей не играешь в кости? Что не танцуешь? Если все эти жалкие вещи восхищают тебя, ты еще не мудрый, а один из многих... Собери внутри себя все свои мысли и в себе самом ищи истинные блага...»

Летом 1764 года, провожая Михаила не столько на каникулы, сколько «на желание» его уехать и «отведать дворцовой жизни», Скворода писал ему: «Итак, поезжай и вооружись не только против скуки, сколько против мира, блюди чистоту своей души. Ведь ты попадаешь из дыма в огонь. До сих пор ты только слышал о мире, теперь же ты его увидишь... Научись быть сильным...»

Он просил его писать и печалился, что не сможет дать спасительного совета, и утешался, что «в некоторых случаях мудрому надлежит принимать во внимание необходимость».

А необходимость была, отчасти, такова, что и самому Сквороде приходилось сражаться с «бесом скуки», с внутренним вихрем, который кружит душу, как сухую листву, как легкое перо. Однажды – в 1767 году – эта безответная тоска прорвется на бумагу: Скворода запишет все на латыни, словно открещиваясь от нее и вместе с тем оставляя ее, как данность, которая «везде по всем разлилась»:

«Не удовлетворяет тебя твоё учение? И в тебе сидит тот же демон. Мне не нравится, что я недостаточно музыкален? Что меня мало хвалят? Что терплю удары и поношения? Что я уже стар? Недоволен, что мне что-нибудь не по душе? Раздражаюсь из-за бесчестного поведения врагов и порицателей? Не они, но тот же бес мне причиняет это беспокойство: что такое смерть, бедность, болезни? Что такое, когда являешься посмешищем для всех? Когда надежда на будущее ослабевает? Разве душа не страдает от этого самым жалким образом, как бы поднятая дуновением ветра и гонимая вихрем?

Вот, душа моя, как я понимаю скуку...»

Первая книга

Есть много причин остановиться подробно именно на письмах Сковороды Ковалинскому, датированных 1762—1764 годами. Хотя в них еще нет философской стройности – этого требовать от Сковороды пока преждевременно; как и все письма, они фрагментарны, они живут «по поводу», который зачастую утерян. И все же...

Знать, *что* именно ты хочешь сказать и *кому* ты хочешь это сказать, – главное знание человека, положившего перед собой чистый лист бумаги. Можно складывать стихи для себя (что, собственно, Сковорода и делал и лишь однажды, в 1754 году, выступил с публичным «Рассуждением о поэзии») с надеждой, что их прочтут и другие. В этом смысле, письмо – это выход человека вовне, к другому, который уже не волею случая, а наверняка прочтет твое слово и вряд ли простит за слово фальшивое.

«Когда я встречаюсь со своими музами, – писал Сковорода Ковалинскому в 1762 году, – то никогда не бывает так, чтобы я мысленно тебя не видел и мне не казалось бы, что мы вместе наслаждались очарованием муз». Ковалинский, обычный студент, вдруг в одночасье стал уникальным адресатом Сковороды. Более того, философ не просто принялся писать другу письма – он в буквальном смысле обрушил на Ковалинского поток писем, словно его до этого что-то сдерживало, не давало высказать прямо, не прибегая к символике стиха, тех мыслей, что накопились в нем за сорок лет.

Ковалинский, «образ дражайшего Михайло», любимый «муравей и кузнечик», стал для Сковороды своеобразным и очень мощным катализатором философского творчества. Через тридцать лет, посвящая своему другу «Потоп змиин», Сковорода словно подытожит свой «творческий метод»:

«Древний монах Эриратус все свои забавные писульки преподносил в дар другу и господину своему патриарху Софронию, а я приношу тебе. Ты мне в друге господин, а в господине – друг...»

Ковалинский оказался особым *условием творчества* – и в этом сочетании, невидимом сотворчестве была заложена своя особая сила: ощущение, что твой философский мир заполнен и востребован. Не было пустой бездны, в которую рожденные сердцем слова падали бы, как предвыборные листовки в невесть какие почтовые ящики. Зато был Михаил, который рядом, который слышит, к которому можно приехать в гости.

Цельность философского творчества Сковороды, цельность его «пишущей личности», может быть, во многом и произросла из *единичности адресата* – «настоящими моими друзьями не могут быть многие...» Произросла из самого принципа – обязательности адресата, словно конкретный и ясный человек способен удержать на привязи своего имени отвлеченные философские образы. Практически все произведения Сковороды имеют посвящения, имеют за строчками живого человека, который, собственно, и стоял перед глазами, пока рука водила пером по бумаге...

Есть еще один важный момент, который мы не замечаем в силу сложившихся стереотипов и который позволяет взглянуть на письма Сковороды к Ковалинскому иначе, чем принято.

Стереотип в том, что на письма мы смотрим как на приложение к творчеству. Поэтому письма занимают последние тома в собраниях сочинений или последние страницы в отдельной книге. Это биографический источник, разъяснение причин, штрихи к эпохе и обстоятельствам, частная жизнь частного человека, не предназначенная для широкой публики. Такое отношение к письмам совершенно справедливо и спорить здесь не о чем.

Но как у любого правила есть исключения, так и письма Сковороды к Ковалинскому не укладываются в привычное прочтение уже хотя бы в силу того, что написаны на одном

дыхании (два года из семидесяти лет – это действительно мгновение), написаны потоком и менее всего посвящены личным обстоятельствам («скрытый» Сковорода ничего не расскажет о «происшествиях» своей жизни). Более того, не могу отказаться от ощущения, что эти письма появились бы, даже если бы Сковорода никогда и не встретил Ковалинского; к этому времени философский поиск Сковороды как бы достиг своей «точки кипения» – и оставалось лишь подставить чашки, чтобы разлить обжигающую воду.

На письма Сковороды стоит смотреть как на *отдельную книгу*, завершённую тогда, когда сорокалетний Сковорода высказал своему другу все свои любимые мысли.

На письма Сковороды стоит смотреть как на *первую книгу*. Поэтому каждый раз и указывается на даты, на время. Письмами в полной мере можно открывать сочинения Сковороды. Это дебют, первый вкус философского слова. Все идеи, высказанные Ковалинскому как в письмах, так и в устных беседах (Ковалинский в биографии философа перескажет многие разговоры), суть зерна, из которых произросли сочинения Сковороды. Да, в письмах темы сквородинских трактатов и диалогов только обозначены пунктиром, бегло, по поводу, по настроению – но все же обозначены.

Обозначено и главное – гносеология Сковороды:

«Сковорода, – рассказывал Ковалинский, – стараясь побудить мыслящую силу друга своего обучаться не только в книгах, но больше в самом себе, часто в беседах с ним разделял человека на двое: на внутреннего и внешнего. Называл одну половину – вечной, а другую – временной, одну – небесной, другую – земной, одну – духовной, другую – душевной, одну – сотворенной, а другую – творческой. Таким разделением в одном и том же человеке усматривал он два ума, две воли, два закона, две жизни...

Первого по божественному роду его именовал царем, Господом, началом, а второго же по земному бытию – рабом, орудием, подножием, тварью. И первому по преимуществу его надлежало управлять и главенствовать, другому же следовало повиноваться, служить...

Он говорил с сильным убеждением истины: «...*О, семя благословенное, человек истинный, божий! Вся видимость есть подножье его. Сам он в себе носит царство, причисляя к небесам всякого просвещаемого им и восполняя своим всеисполнением, сев по правую руку отца небесного навеки...*»

Чтобы исполнить это, нужно было лишь посмотреть на человека и познать его...

Гужвинский гносис

В свои 44 года Григорий Сковорода снова на перепутье. Так бы мог написать биограф, который и сам каждый раз оказывается на перекрестке обычных житейских дорог, ищет денег до зарплаты, подрабатывает невесть какими заказами, чутко прислушивается к разговорам в свой адрес, ждет счастливого поворота судьбы – вот, вот сейчас, может быть, она и вынесет его в «счастливый дивный мир богатых и знаменитых». И между делом, как требует того писательское приличие, выискивает в себе редкие созвучия с русским Сократом. Но не замечает подчас и не хочет принять, что идти обычной дорогой у Сковороды уже не было ни желания, ни жизненной необходимости. Последняя попытка удержаться на полосе обыденности уже завершилась харьковским скандалом; да и сама попытка, к слову, вышла лишь по инерции.

В Сковороде произросла совсем иная идея.

У В. Эрнэ есть хорошее сопоставление Сковороды с Декартом. Как истинный философ Сковорода с жизнью своей проделал то, что хотел проделать с мыслью своей Декарт. Поставив во главу угла сомнение, Декарт методично избавлял свою мысль от господства традиции и предрассудков, вычищал ее от всего наносного, живя одной страстью: оставить мысль наедине с собой.

«Сковорода отважился на нечто более решительное и грандиозное, – пишет В. Эрнэ. – *Он отверг всякое готовое содержание жизни, а не только мысли, и, усомнившись во всех путях, решил прежде всего остаться с самим собою, овладеть своим „я“ и создать себе такую жизнь, которая бы всецело вытекала из чистой идеи его внутреннего существа».*

Эрнэ, правда, следом оговорится – само по себе такое решение было «малосодержательно и малозначительно». Действительно, каждый из нас время от времени принимает судорожно искать согласие между своим внутренним миром и внешним его выражением. Мы настраиваем себя – каждый по своему камертону; крутим душу, как колки у гитары, – лишь бы добиться чистого звучания. Но постоянное напряжение струны нам оказывается, увы, недоступным, и вскоре инструмент оказывается где-то на антресолях, лак на барабане сереет от пыли, а струна дребезжит неимоверно.

Это и отличает нас от «старчика Григория Варсавы». «Сковорода обладал огромной цельностью и непоколебимой последовательностью воли», – пишет биограф. После Харькова начинается не просто тридцатилетний период его странствования. Начинается целая эпоха всматривания, вглядывания в себя, начинается эпоха «философии жизни» в ее непосредственном и цельном практическом выражении. Собственно, начинается «эпоха Сковороды», которая надолго останется в народной памяти, в легендах и рассказах о замечательном и удивительном старце, исходившем вдоль и поперек Украину и Малороссию.

В 1769 году, простившись с Харьковским коллегиумом, Сковорода находит уединение на хуторе Гужвинском, что в десяти верстах от Харькова. Гужвинское принадлежало слобожанским помещикам Земборским, которых Сковорода «любил за добродушие их». «Судя по всему, это были люди не совсем заурядные, – пишет Ю. Барабаш. – Отставной прапорщик Василий Земборский приглашает оклеветанного философа под свой кров, хотя не может не понимать, что ссориться с его гонителями небезопасно. Его сын Иван, учась в коллегиуме, посещал „крамольные“ лекции Сковороды, что наверняка не могло понравиться начальству».

Впрочем, этот страх уже тогда можно было назвать несущественным. Гораздо сильнее была боязнь потерять удивительного человека, не приютить мудрого старца (которому еще и полвека-то не исполнилось) и тем самым отказаться от благодати, от Света.

Уединение Сковороды в Гужвинском вышло замечательным. Место это, как рассказывал М. Ковалинский, было покрыто угрюмым лесом, который спускался к небольшой речке

Лопань. Здесь, среди леса, находилась глухая пасека с заброшенной хижинкой. Сковорода вообще любил лесные пасеки – и лучшего ему подарка от Земборских не требовалось.

Здесь, «предавшись на свободе размышлениям и оградив свое спокойствие духом безмолвия, бесстрашием, бессуетностью, написал он первое свое сочинение в виде книги, названное им «Нарцисс, или познай себя».

«Это мой сын первородный», – скажет позднее Сковорода. «Это чистый источник его будущих сочинений», – скажет биограф. «Это начало его оригинальной гносеологии», – скажет историк философии. И все трое повторят с Соломоновой притчи: «Разума праведник – себе друг будет...»

О гносеологии Сковороды стоит сказать отдельно – уже хотя бы в свете известного спора о русской философии, которой отказывали и в оригинальности, и даже в самом существовании именно по причине отсутствия в ней стройной гносеологической системы – теории познания. Против критиков и оппонентов очень точно высказался Василий Зеньковский, заметив, что у философии, собственно, не один, а несколько корней, и все ее своеобразие этим и определяется. Поэтому ставить во главу угла теорию познания как признак «зрелости» философии совершенно не обязательно и, может быть, отчасти ошибочно.

«В русской философии есть некоторые своеобразные особенности, которые вообще отодвигают теорию познания на второстепенное место, – пишет В. Зеньковский, предваряя свою „Историю русской философии“. – Русские философы склонны к онтологизму... познание признается лишь частью и функцией нашего действия в мире, оно есть некое *событие* в процессе жизни, а потому его смысл, задачи и его возможности определяются из общего отношения нашего к миру».

Теория познания открывает философию Сковороды; но открывает в том смысле, как является лишь первой ступенькой, первым опытом. Философ сохранил свои основные гносеологические идеи в других сочинениях практически без изменений, разве лишь корректируя детали. Формально, мы не найдем у Сковороды попытки свести теорию познания даже к мало-мальской системе; да и его ключевые идеи по этой теме можно пересчитать по пальцам одной руки.

Дело принципиально в другом.

Сковорода и не собирался посвящать себя теории познания – это удел немецкой классической философии. Гносеология явилась для него важнейшим *жизненным актом*, действием, событием, без которого невозможен дальнейший путь человека – путь в глубину. Это событие совершенно ясно вычертило Сковороде свою «систему координат»: есть «познание, скользящее по поверхности», и «познание в Боге».

В. Зеньковский назовет это «происшествие» Сковороды *гносеологическим дуализмом*, одной из основ его философии. «Нужно везде видеть двое» – такова «философская молитва» Григория Варсавы. «Если Дух Божий вошел в сердце, если очи наши озарены духом истины, то все теперь видишь по двое, вся тварь у тебя разделена на две части... Когда ты новым оком узрел Бога, тогда все в нем увидишь, как в зеркале, – все то, что всегда было в Нем, но чего ты не видел никогда...»

Отражаясь в воде

На берегу маленькой лесной речки в гужвинском уединении произошло еще одно исключительное событие. Сковорода нашел для своей идеи *образ*, образ, который в нашем привычном и склонном к стереотипам понимании меньше всего соотносится с гносеологией. Ему приснился Нарцисс, пришедший из «Метаморфоз» Овидия, – прекрасный юноша, влюбившийся в свое отражение в чистой воде.

Словно ножом варвара, Сковорода полоснет по полотну Караваджо, узаконившего то прочтение Нарцисса, что со временем станет нарицательным, войдет в обиход психоаналитиков, символизируя самовлюбленность и крайние формы индивидуализма. Сковорода словно забудет о мертвенном и оцепенелом исходе судьбы сына речного бога, о прекрасных, но холодных и надменных цветах, названных этим именем. Мысль Сковороды станет для Нарцисса животворящей силой – и это окажется, пожалуй, единственным «нестандартным» восприятием древнего античного мифа.

Всматриваясь в чистую гладь источника, Нарцисс увидел совсем иное отражение...

– Скажи мне, прекрасный Нарцисс, в водах твоих что узрел ты? Явился ли кто тебе?

– На водах моих всплыло елисейское железо. Узрел я на полотне протекающей моей плоти нерукотворный образ, «который есть сияние славы отчей». «Положи меня как печать на мышцу твою». Отражается на нас свет...»

«Посреди вас стоит, его же не видите» – так говорит Сковорода и о божественном свете, и о подлинной красоте, и о святой истине. «Не по лицу судите, но по сердцу... Всяк есть то, чье сердце в нем: волчье сердце есть истинный волк, хотя лицо человечесье». Как отважиться узнать, какое сердце в тебе?

«Нарцисса образ говорит: „Познай себя!“ – пишет Сковорода. – Будто бы сказал: хочешь ли быть доволен собой и влюбиться в самого себя? Познай же себя! Испытай себя крепко...»

Сковорода не знает, но ясно чувствует итог этого испытания. В темной воде – яркие и чистые всполохи света, отражение солнца, что внутри человека. «Вы есть свет миру» – повторяет он библейскую истину. Что же еще искать человеку в себе, как не солнце? «В солнце положи селение свое», стань источником, что источает животворящие струи и лучи божества.

«О милая моя милость, Нарцисс! Ныне из ползучего червища восстал ты пернатым мотыльком. Ныне воскрес ты!..»

«Происшествие в Гужвинском», чудо, явленное в темной воде Нарциссу, будут иметь глубокие последствия. И не только для Сковороды – для него подобная метаморфоза была неизбежно логичной – для русской философии, для русского философского Ренессанса начала XX века.

И, в частности, для Ивана Ильина.

«Созерцание – это такое наблюдение, которое вчувствуется в самую природу вещей, – пишет И. Ильин. – Созерцание возносит человеческую душу и делает ее окрыленной».

«Когда человеческая любовь избирает себе такое жизненное созерцание, которым действительно стоит жить и за которое стоит умереть, то она становится духовной любовью. Если же духовная любовь овладевает человеческим воображением, наполняет его своею силою и своим светом и указывает ему достойный предмет, то человек отдается *сердечному созерцанию*: в нем образуется новый, чудесный орган духа, орган творчества, познания и жизни, который возносит и окрыляет его».

«В человеческой жизни есть такие реальности, которые воспринимаются, открываются и обогащают дух только через сердечное созерцание. Замечательно, что это именно те предметы, которые определяют смысл человеческой жизни... Духовно воспринять Бога и утвердить свою веру в Него можно только при помощи сердечного созерцания... Вера возникает от вчувствования в Совершенство...»

Это, собственно, и есть главный завет сковородинского Нарцисса.

Григорий Варсава, конечно, еще не предполагает духовный катастрофизм новой нашей эпохи, хотя и в его время драматических событий хватало в изобилии. Ему пока неясна, хотя он по-своему и чувствует ее, жгучая тоска русских философов о том, что философия ушла в отвлеченную пустоту, теология стала «симпатизировать» безбожию, поэзия поблекла в пустозвонстве, беллетристика устремилась к непристойности, государственность с упоением всковырнула революционные и тоталитарные струпы, наука ушла на службу жестоким войнам.

«Человечество не заметило главного: омертвения своего сердца и своей духовности и обессиления своего творческого акта», – всматривается Иван Ильин в бетонные стены новой цивилизации. И даже чистые источники не утоляют духовной жажды. Мы глядимся в божественную воду, как в зеркало, когда бреемся по утрам. Сковородинский Нарцисс воскресает в солнечных лучах, мы же умираем в сумерках на берегу, занятые своими морщинами, мешками под глазами, прыщами, формой носа и цветом кожи. Путь к духовной очевидности мы по традиции называем идеалистическим и не чувствуем печали ни Сковороды, ни Ильина – печали о современном человеке, который слеп при зрячих глазах...

«Ты и сам себя не видишь, не разумеешь и не понимаешь сам себя. А не разумеет самого себя, слово в слово, одно и то же есть, как потерять самого себя. Если в твоём доме сокровище зарыто, а ты про него не знаешь, слово в слово, как бы его не бывало. Познать самого себя, и сыскав самого себя, и найти человека – все сие одно значит».

Так наставлял своих собеседников в философском споре один из героев «Нарцисса» – Друг. Сковорода не мудрствовал в выборе жанра – беседа была ему более всего по душе, да и традиция философского диалога восходила к его любимым античным авторам.

Собеседники Сковороды просты, хотя беседовать с ними приходится по всем правилам полемики. Есть и два «вольных слушателя» – некие Навал и Сомнас, – которые не включаются в разговор, но ловят каждое слово, подобно опытным чекистам. Беседуют эти «книгочеи-наставники», как пишет Ю. Барабаш, где-то за кадром, но при этом не дают Сковороде забыть харьковские впечатления. Слушают внимательно – слышат ли?

«Есть тело земляное и есть тело духовное, тайное, сокровенное, вечное. Так для чего же не быть двоим сердцам? Видел ты и любил болвана и идола в твоём теле, а не истинное тело, во Христе сокровенное. Ты любил сам себя, то есть прах твой, а не сокровенную божью истину в тебе, которой ты никогда не видел, не почитал ее за бытие...»

«Все то идол, что видимое. Все то тьма и смерть, что преходящее, – продолжал Сковорода. – Видишь одно только скотское в тебе тело. Не видишь тела духовного... /Забыл ли/, что орешина суцая состоит не в корке его, но в зерне, под коркой сокровенном?...»

Нужно особое зрение, Око Духа, «чтобы ты мог истину в пустоши рассмотреть. А старое твоё око никуда не годится. Пустое твоё око смотрит во всем на пустошь...»

«Мудрого очи его – во главе его, очи безумных – на концах земли». Не раз повторит Сковорода эту библейскую истину. На концах земли света нет, и над всем куражатся призрачные и холодные тени. Оттого тень и становится у Сковороды особым философским критерием, понятием:

– Я ведь не тень, – обижается собеседник Лука. – Я твердый корпус имею.

– Ты-то тень и есть, тьма и тело. Ты сон истинного твоего человека. Ты риза, а не тело. Ты привидение, а он в тебе истина. Ты-то ничто, а он в тебе существо. Ты грязь, а он твоя красота...

Видит человек тень дуба, но не видит самого дерева – таков упрек Сковороды своим собеседникам. Видит человек части – пята и хвост, – но не видит целого. *«Так почему, – спрашивает Сковорода к примеру, – если видишь на старой в Ахтырке церкви кирпич и известь, а плана ее не понимаешь, думаешь – усмотрел ли и познал ее?»*

«Не внешняя наша плоть, но наша мысль – то главный наш человек», – произносит он любимые свои слова и просит понять их, уразуметь, сердцем принять. *«Кто старое сердце отбросил, тот сделался новым человеком. Горе сердцам затверделым...»*

Так поучал приятелей своих Григорий Варсава. Оставил и для «ревнивых слушателей» крамолу: *«Никогда еще не бывала видимость истиной, а истина – видимостью. А ведь истинный человек и Бог есть то же...»*

Тема вышла незавершенной – сковородинское тождество истинного человека и Бога обернулось многоточием. Сразу же после написания «Нарцисса» Сковорода садится за новую работу – «Симфония, нареченная книга Асхань, о познании самого себя».

«Судьба этого сочинения таит в себе нечто неразгаданное, – пишет Ю. Барабаш. – В конце жизни Сковорода вспоминал, что в свое время, „ожелчившись“, сжег рукопись». К счастью, у его друга и главного адресата поздних писем Якова Правицкого список «Асхани» сохранился. *«Я удивился, – пишет Сковорода Ковалинскому в сентябре 1790 года, – увидев у него моего „Нарцисса“ и „Симфонию“. А я не только апографы, но и автографы раздал, раздарил, расточил...»*

Чудесное воскрешение «Асхани», равно как и самого библейского имени, хотя и ничем, к слову, не примечательного, делает формулу «познай себя» своеобразным *категорическим императивом* Сковороды. Его гносеология уступает место религиозной этике, теория познания – практическому прямому целенаправленному действию. «Познай себя» становится библейским заветом, отступить от которого истинный человек не может.

«От познания самого себя входит в душу свет ведения божия», – говорит философ, тем самым определяя познание, «узнание себя» единственным условием обретения божественного света, «философским символом веры и любви к Богу». *«А ты одно старайся: узнать себя, – наставляет он собеседника. – Как ты сделаешься местом богу, не слушая нетленного гласа его? Как можешь слышать, не узнав бога? Как узнаешь, не сыскав его? Как же същещь, не распознав самого себя?»*

Можно оговориться вслед за биографом: в понятие «бог» Сковорода вкладывает не традиционный, а пантеистический смысл, отождествляя бога с «невидимой натурой». Да, сковородинский бог *«в дереве истинным деревом, в траве – травой, в музыке – музыкой, в доме – домом, в теле нашем из плоти новым есть телом и точностью или главой его. Он всячиной есть во всем...»* Но разве это принципиально что-то меняет?

«Не прекрасный Нарцисс, не хиромантик и не анатомик, но увидевший внутри себя главный машины пункт – царствие божие, – сей узнал себя, нашедши в мертвом живое, во тьме свет, как алмаз в грязи...»

Пожалуй, никто, кроме Сковороды, не определял гносеологию так жестко и так не философски – она есть главный и единственный «метод истинной жизни».

Киевский сон

Его странствия продолжают. Тихое Гужвинское сменится в 1770 году уединенной Гусинкой – именем харьковских дворян Сошальских. Младший из братьев, как рассказывает М. Ковалинский, просил Сковороду пожить у него, предлагая ему спокойное пребывание в его селе.

«Сковорода поехал с ним в Гусинку, – пишет биограф, – полюбил место и хозяев и поселился недалеко от села на их пасеке. Тишина, безмятежность, свобода пробудили в нем чувства тех драгоценных удовольствий, которые опытом известны одним мудрым и целомудренным».

О своем настроении Сковорода подробно напишет другу:

«Многие говорят: что делает в жизни Сковорода? Чем забавляется? Я же в Господе радуюсь, веселюсь в Боге, спасителе моем! Радость есть цвет человеческой жизни, она есть главная точка всех подвигов; все дела каждой жизни текут сюда... Всякому своя радость мила. Я же поглумлюсь, позабавлюсь в заповедях вечного. Все исходит в скуку и омерзение, кроме этой забавы, и пути ее – пути вечные...»

В 1770 году – по божественному провидению, по божественному произволу – в жизни Сковороды произойдет важное событие, значение которого вряд ли можно определить на бумаге.

Все начнется с того, что один из Сошальских уговорит-таки Григория Варсаву поехать с ним в Киев – к родственнику Юстину, который был тогда начальником Китаевой пустыни, что возле Киева. Здесь и поселился Сковорода, три месяца проведя с удовольствием.

«Но вдруг, – рассказывает М. Ковалинский, – заметил в себе внутреннее непонятное движение духа, побуждавшее его уехать из Киева. Следуя этому по своему обыкновению, он просит Юстина отпустить его в Харьков. Тот уговаривает его остаться. Григорий непреклонно настаивает, чтобы отпустили его. Юстин закликает его всей святостью не оставлять его. Тот, видя нерасположенность Юстина к отпуску его, пошел в Киев к приятелю просить, чтобы его отправили на Украину».

В Киеве Сковорода мечется, не находит себе места, подобно зверю, предчувствующему землетрясение. Дух настоятельно велит ему удалиться из города.

«Между тем, пошел он на Подол, нижний город в Киеве, – продолжает биограф. – Вдруг, остановясь, почувствовал он обонянием такой сильный запах мертвых тел, что перенести не смог и тотчас повернул домой. Дух убедительнее погнал его из города, и он к неудовольствию отца Юстина, но с благословения духа на следующий же день отправился в путь».

Через две недели Григорий Варсава приедет в Ахтырку-городок и остановится в монастыре у своего приятеля архимандрита Венедикта. Добродушие и уединение успокоили Сковороду, что он счел киевское происшествие неприятным сном. Пока в монастыре не получили страшное известие – «в Киеве оказалась моровая язва, о которой в бытность там Сковороды не было и слышно, и что город уже заперт...»

Это известие потрясло, ошеломило Сковороду, взбудоражило его душу и дало иное зрение. Ковалинский отмечал: «До тех пор сердце его почитало Бога, как раб, теперь же возлюбил, как друг».

Киевское предзнаменование, предупреждение и счастливое избавление обернулись через несколько дней своеобразным приступом религиозной экзальтации. Сковорода сам рассказывал:

«Так как мысли мои и чувства души моей распалены благоговением и благодарностью к Богу, я встал рано и пошел в сад прогуляться. Первое ощущение, которое я осязал моим

сердцем, была некая раскованность, свобода, бодрость, надежда на исполнение. Введя в это состояние духа свою волю и все желания мои, почувствовал я внутри себя чрезвычайное движение, которое преисполнило меня непонятной силой.

Мгновенно некая сладость наполнила мою душу, от которой все внутри меня загорелось огнем, и, казалось, что в жилах моих совершался пламенный круговорот. Я начал не ходить, но бегать, как бы носимый неким восхищением, не чувствуя ни рук, ни ног, но будто бы весь я состоял из огненного состава, который летал в просторах кругообъятия.

Весь мир исчез передо мною; только чувство любви, благонадежности, спокойствия, вечности оживляло существо мое. Из очей моих хлынули ручьями слезы и разлили некую умиленную гармонию по всему моему телу. Я проник в себя, ощутил, как сыновней любви уверение и с того часа посвятил себя сыновнему повиновению духу божьему».

«Двадцать четыре года спустя, – пишет М. Ковалинский, – пересказал он это своему другу с особенным чувством, давая понять, сколь близок к нам Бог, сколько помышляет он о нас, хранит нас, как наседка птенцов своих, под крыльями своими их собрав, если мы только не удаляемся от него в мрак желаний нашей растленной воли...»

В поисках счастья

Русские философы так часто писали о трагедии, что невольно начинаешь говорить об определенном трагическом мировосприятии, ставшем одной из черт нашей философии, ставшем ее особым дыханием, голосом, драматическим жестом. Произрастая из реалий современности, личного опыта и откровения, вздрагивая от малейших неурядиц и зачарованно вглядываясь в глобальные катастрофы, прячась от мира возле церковных стен, онтологически впитывая все и всех, русская философия наполнена трагизмом и любовью, абстракцией и бытовыми «печными выюшками». По философским системам топчутся литературные герои и человеческие судьбы, которые, по определению, неизбежно драматичны. И трудно отличить философа от поэта и поэта от философа – подобного отождествления мы не найдем в «чистой» классической философии с ее немецким порядком и массивностью дубовой лавки и пивной кружки. Антропоцентризм русских философских исканий начинался с трагических поворотов судьбы и, совершив жизненный круг, возвращался обратно. Из земли вышли – в землю войдем.

О трагедии писали многие русские мыслители – философ, как и поэт, должен быть «положительно несчастлив». О счастье – лишь единицы, и первым – Сковорода. Писал, борясь с червем неусыпным, с бесом тоски, что точит сердце, как вода камень, что выворачивает душу и выжигает ее адским пламенем.

Вся философия Сковороды – апология счастья, ода счастью, молитва о счастье.

Счастье – не философская категория. Хотя, к слову, бесконечная категоричность научных трудов еще не является свидетельством подлинного философского мышления. Счастье не укладывается в сетку понятий, оно хаотично, оно эмоционально; подчас это дрожжи, на котором поднимается тесто наших умозаключений и стереотипов. Родись счастливым – и разве нужна тебе будет «наука о счастье»?

Примечательно, но в своем «Очерке развития русской философии» Густав Шпет отказал Сковороде в «звании философа» именно по этой причине – еще можно «стерпеть» счастье как предмет морали, как дань эвдемонистической античной традиции, но только не как предмет философии. «Сковорода от начала до конца моралист, – пишет Г. Шпет. – Не наука и не философия, как таковая, владеют его помыслами, а лишь искание для себя и указание другим пути, ведущего к счастью и блаженству... Вся мнимая философичность Сковороды – лишь пристройка к „самонужнейшей науке“ о счастье».

И все же...

Как-то Сковороду спросили, что есть философия?

– *Главная цель человеческой жизни, – ответил Сковорода. – Глава дел человеческих есть его дух, мысли, сердце. Всякий имеет свою цель в жизни, но не всякий главную цель. Иной занимается чревом жизни, то есть все дела свои направляет, чтобы дать жизнь чреву; иной – очам; иной – волосам; иной – одеждам и прочим бездушным вещам. Философия, или любомудрие, устремляет весь круг своих дел на то, чтобы дать жизнь нашему духу, благородство сердцу, свет мыслям, как главе всего. Когда дух в человеке весел, мысли спокойны, сердце мирно, то все светло, счастливо и блаженно. Это есть философия.*

Современный мыслитель, читатель, воспитанный на совершенно иных философских категориях, вряд ли примирится с подобным вольным определением и еще добавит при этом, что защищать философию Сковороды – это удел панегиристов. Между тем, в сковородинской «теории счастья», как выступает с защитной речью Ю. Барабаш, переплелись основные принципы античной философии и этики: сократовское и платоновское самоограничение, аристотелевское умение управлять страстями, стремление стоиков к согласию с природой, презрение киников к «житейскому дыму» и нормам расхожей морали. Спорить же о том, философична ли

этика или этична философия, мы не будем – не этот терминологический спор является благодатным дождем, помогающим прорасти зерну мысли.

Не поможет и «спор» между Афинами и Иерусалимом. У Сковороды языческая античность и новое христианство переплетены, смешаны, истолчены в ступке; под «древними мудрецами» у него спрятаны многие – и не идут крестовым походом друг против друга.

Подчас Сковорода делает совершенно неожиданные отождествления. Так, своей 30-й песней, произросшей из древнего стиха: «Наслаждайся днями своими, ибо все в мале стареет», он многих поставит в тупик:

*Хочешь ли жить в сласти? Не завидь нигде.
Будь сыт с малой части, не бойся везде.
Плюнь на гробные прахи и на детские страхи;
Покой – смерть, не вред.
Так жывал афинейский, так жывал и еврейский
Эпикур – Христос...*

В философской защите нуждался не только Сковорода. Воскрешенный им и отождествленный с Христом «духовный отец эпикурейства», ставший в расхожих стереотипах проповедником плотских наслаждений, низменных страстей и сластолюбия, был не понят в том же парадоксальном смысле, что и сковородинский Нарцисс. «Силу слова сего люди не раскусив во всех веках и народах, обеславили Эпикура за сладость и почли самого его пастырем стада свиного», – сетует Сковорода и каждый раз возвращается к «Письму к Менекею», подчеркивая, что «начало всего и величайшее благо есть благоразумие, а не удовольствие распутников». К попойкам, кутежам и оргиям Эпикур Григория Варсава столь же близок, как Земля к Веге или Сириусу. Но мы упорно продолжаем видеть внешний холодный свет и думать, что этого достаточно для познания вселенной.

Сковороде не нужны Эпикур и Нарцисс кисти ученого-примитивиста; и в «шаблонного», «вымаранного из живой жизни» Христа Григорий Варсава тоже не верит. Его угнетают фальшивые ноты, его прижимает к земле дисгармония мира, которая стала следствием того, что человек в бесконечной какофонии суетных дней утратил способность слышать глубинные созвучия и самому быть созвучным природной и божественной глубине.

«Счастье! Где ты живешь? Мудрые, скажите!..» – спрашивал Григорий Варсава, но не чаялся услышать ответа. На бумагу ложились грустные строки: «Счастья нет на земле, счастья нет в небе». Где искать его, в каком углу оно заключилось, на какой вершине в недоступности спряталось, появится ли, покажется?

Он словно лукавит – разве могли дать ему ответ просторечные суматошные дни или безжизненная книжная ученость? Но сам в глубине знает, что «всем человеческим затеям выйдем один конец – радость сердца». Ее и ищет, ибо что еще искать, и говорит с уставшими путниками об истинном счастье в жизни.

«Не диковина дорогу сыскать, но никто не хочет искать». Мы подчас так сильно тоскуем о счастье, что, выжатые этой тоской, не желаем найти даже тропинки к нему, довольствуемся зыбкой тенью счастья – и радуемся тому скудной радостью. В наш адрес сковородинский упрек, что мы не в силах даже помыслить: а, собственно, какое нам нужно счастье, что оно есть из себя – груда ли сверкающего железа, или неумный пир в ресторации, или мягкое кресло перед телевизором, или покой душевный и тихая гавань. «Сперва узнай все то, в чем истинное счастье не состоит, – учит Сковорода, – а, перешаривши пустые закоулки, скорее доберешься туда, где оно обитает». Вот только узнавать, перешаривать лень, и человек кружится

оторванным календарным листом или бродит в темноте наугад – вдруг набредет на счастливую обитель? Стоит ли удивляться, что наткнется лишь на рогатки?

«Скажи пожалуйста, не вздор ли и не сумасбродство ли, что человек печалится о драгоценнейшем венце? А на что? На то, будто в простой шапке нельзя наслаждаться счастливым и всемирным светом...»

«Безумный муж со злою женой выходит вон из дома своего, ищет счастья себе, бродит по разным званиям, достает блистающее имя, обвешивается светлым платьем, протягивает разнovidную сволочь золотой монеты и серебряной посуды, находит друзей и безумия товарищей, чтоб занести в душу луч блаженного светила и светлого блаженства. Есть ли свет? Смотрят – ничего нет...»

«Взгляни на волнующееся море, на многомятежную во всяком веке, стороне и статье толпу, так называемую мир, или свет; чего он не делает? Воюется, тяжбы водит, коварничает, заботится, затевает, строит, разоряет, кручинится, тенит. Есть ли свет? Смотрят – ничего нет...»

Григорий Варсава повторится, и сделает это еще не раз: *«Ищем счастья по сторонам, по векам, по статьям, а оно есть везде и всегда с нами; как рыба в воде, так мы в нем, а оно около нас ищет самих нас. Нет его нигде, затем что есть везде. Оно же подобно солнечному сиянию: отвори только вход ему в душу свою...»*

И ведь кажется – нет ничего проще. Нет ничего проще выйти из мрачной платоновской пещеры с вечно бегущими тенями на холодной стене и больше в нее уже никогда не возвращаться; нет ничего проще в бетонном городском кармане распахнуть настежь окна свежему ветру.

Беседуя с путниками, Григорий расскажет свою «платоновскую сказку», басенку. Жили-были дед да баба. Сделали они себе хатку, да не прорубили в ней ни одного окошка. Невеселая вышла хата. По долгом размышлении решили они свет доставать. Взяли мех, разинули его в самый полдень перед солнцем, чтобы набрать, будто муки, и внести в хатку. Попробовали раз-другой – нет света. Решила бабка, что мех дырявый, и свет из него вытекает, и надобно проворнее и быстрее в дом бежать. В дверях с дедом и зашиблась.

Благо, на тот случай проходил мимо странный монах. *«Он имел от роду только 50, но в сообщении света был великий хитрец»*. Не стал он «секретной пользы утаивать» и посоветовал взять топор и прорубить окошко.

– *Целый свет не видел столько бестолковых, как твои дед да бабка!* – воскликнет в ответ один из путников. Впрочем, кто бы сомневался...

«Великий хитрец в сообщении света», Григорий Варсава не ограничится «счастьем извне», которое входит в человеческую душу, подобно солнечному лучу. Для Сковороды очевидно, что счастье мало «поймать», его нужно «принять», чтобы оно произошло изнутри. *«Зачем мне гоняться за счастьем, – скажет он, – когда оно у меня за пазухой... дома»*. *«Наше истинное счастье... живет во внутреннем сердца нашего мире, а мир в согласии с Богом; чем кто согласнее, тем блаженнее»*.

«Местоположение» сковородинского счастья сродни «искре божьей» и потаенному «истинному человеку», что «один во всех нас и в каждом целый». Такое толкование, по словам В. Зеньковского, вполне можно принять за «феноменальность человеческого бытия». Впрочем, феноменологических параллелей можно приводить много, да и сам Сковорода с его пренебрежением к «телесному болвану» человека эмпирического и «буклям и кудрям» эмпирического же счастья дает тому немало поводов.

Сковорода каждый раз, в каждом своем диалоге уводит своих путников в глубь человека. Иной ракурс ему просто не интересен. Это путешествие за счастьем не имеет ничего общего с расхожими школьными представлениями – в виде ищущих счастья и не нашедших его некра-

совских мужичков, отчасти лубочных, отчасти русских. В своем поиске счастья Сковорода восходит к классическому библейскому сюжету – притче о блудном сыне – и многочисленным его интерпретациям. Выбор более чем показательный: герои Сковороды не столько ищут счастья, идут за счастьем, сколько *возвращаются* к нему, обретая утраченное.

«Путник, обходя разные земли и государства, лишился ног, – рассказывает Григорий своим собеседникам еще одну поучительную и диковинную историю. – Тут пришло ему на мысль возвратиться в дом к отцу своему, куда он, опираясь руками, с превеликим трудом продолжал обратный путь свой. Наконец, доползши до горы, с которой виден уже был ему дом отца, лишился совсем и рук...» Так и остался бы он между камней мучительно и жадно взирать на благословенный и счастливый край. Но тут он увидел слепца, который шел еле-еле, постоянно сбиваясь с дороги. Разговорились. Слепец тоже излазил полсвета, да счастья так и не нашел, и теперь возвращался к отцу – наугад, в вечной темноте, по наитию. Узнали тогда оба, что они братья. Тогда слепой посадил на шею зрячего, но безрукого-безногого – и зашагал небывалый путник, из двух в одно составленный, к родному порогу...

Можно видеть счастье, но никогда не достичь его, взирая с завистью со стороны, подглядывая за ним в замочную скважину. Можно искать счастье, но никогда не найти дороги к нему. Такова суть рассказанной истории. И все дальнейшее повествование Сковороды есть попытка освободить человека от тщетных, скверных, бессмысленных и пустых желаний и оставить его с руками, ногами и глазами в счастливом краю, из которого, по светской глупости своей, он так пытается выбраться.

Но не дорожат дети мира своими чреслами и ищут разумом не истину, а все новые оправдания своих суетных страстей. И преуспели в этом изрядно. Библейский слог как старый лоскут, и ему не находится места среди модной современной пустологии, блестящей, суматошной, жаждущей крови, прописавшейся в телевизионной сетке, прибравшей к рукам воинствующие племена поэтов, писателей и философов, готовых создать какие угодно стереотипы и «правильные формулы».

Впрочем, и эта печаль биографа, перешагнувшего в электронный век, достаточно стара, как стара еще одна история, рассказанная Сковородой в «Разговоре пяти путников об истинном счастье в жизни».

Пять путников пришли в царство любви и мира, где нет ничего тленного, но все вечное, где нет ни болезни, ни печали, ни вздыхания. Прошли они под прекрасной радугой, вышли к ним навстречу великим множеством бессмертные жители. Скинули с путников все ветхое и одели в новое тело и одежды. Сели странники у трапезы с ангельскими хлебами и новым вином. Но не веселы среди веселья были путники – некая тайная горесть сердца их угрызала. Отвели их к царю.

– Я прежде прошения вашего знаю ваши жалобы, – сказал он. – Вы сами горесть свою занесли сюда из враждебных земель...

Эта история, столь похожая на «Новую Атлантиду» Ф. Бэкона, была рассказана с одной целью. *«Ах бедное наше знаныще и понятыще! – восклицает Сковорода. – Откуда эти бесы вселились в сердца наши?»* И отвечает сам себе: *«Враги твои суть собственные твои мнения, воцарившиеся в сердце твоём и всеминутно его мучающие».*

«Человек – извечная жертва своих же собственных истин. Раз приняв их, он уже не в состоянии от них отказаться», – напишет спустя полтора века один из апологетов экзистенциализма А. Камю. Мир живет обманом и слепыми надеждами. Все силы и цвет человека уходят на «добывание условий» для счастливой жизни, и в этой охоте счастье забывается, теряется, уходит. И вот, на руинах своей биографии, «человек понимает, что провел столько лет лишь для того, чтобы удостовериться в одной-единственной истине» – ему не уйти от времени, которому, собственно, глубоко безразлично: был человек счастлив или нет. Выбора не оста-

ется – такова главная печаль и тоска философии XX века, вынужденной жить с ницшеанским знанием о том, что «бог умер», «бога нет», и спасти человека некому.

У Сковороды этой смертной экзистенциальной скуки нет, он еще полон решимости указать счастливый путь, он еще уверен, что святая Библия остается «врачебным домом», в котором особым спиртом – евхаристией – лечат горечь человеческого сердца. *«Счастье наше есть мир душевный»*, – пишет он и готов выстроить этот мир заново, собрать все его счастливые крупички. *«Вседражайший сердечный мир подобен самым драгоценным камушкам: одна крошечка цену имеет, если станем его одну каплю щадить, тогда сможем со временем иметь целую чашу спасения»*.

И все же, всматриваясь в свой век, который жил идеалами прогресса и ел просвещением, он с иронией и грустью напишет: *«Мы измерили море, землю, воздух и небеса; мы обеспокоили недра земные ради металлов, нашли несчетное множество миров, строим непонятные машины... Что ни день, то новые опыты и дивные изобретения. Чего только мы ни умеем, чего ни можем! Но то горе, что при всем том чего-то великого недостает...»*

За букварем мира

Начало 1770-х годов – счастливая пора в жизни Сковороды, удивительная, как говорит об этом биограф. Философ живет в мирной тишине и уединении у друзей – в частности, у Степана Тевяшова в Острогжске. Острогжское лето 1772 года окажется самым плодотворным – Сковорода напишет шесть философских сочинений, в том числе и «Разговор пяти путников». «Он полон творческой энергии, – пишет Ю. Барабаш, – ему есть что сказать, и он словно торопится выговориться... Это пора жизненной зрелости, какой-то особенной внутренней раскрепощенности, душевного равновесия, расцвета».

В 1775 году отзвуком острогжского лета попадет к Тевяшову-сыну переписанный набело «Разговор, называемый Алфавит, или Букварь мира». Этот «дружеский разговор о душевном мире» не только подытожит пятидесятилетие жизни Григория Варсава, но и станет центральной частью его этики. Метафизика человека, в которую со всей страстью исследователя, искателя окунулся Сковорода, привела его к *«тайному закону человеческого возрастания»* – тот, кто живет в несогласии со своей природой и не чувствует в делах своих «сродности», обречен на страдания и муки, на вечную тоску по душевному покою, на испепеляющий пламень суетного эмпирического мира.

Сковорода не просто чувствует важность этой идеи. Наряду с самопознанием и идеей «разделения натур» он делает понятие «сродности» краеугольным камнем своей философии. Он также понимает, что поиск «душевного мира» несравнимо шире «счастья».

Сковорода даже меняет тон диалога – здесь уже нет случайных слушателей, которым нужно что-то доказывать, «втемяшивать», чем-то удивлять, подчас резко осаживать. И это правильно: нет смысла спорить о душевном мире – о нем можно лишь тихо говорить с близкими друзьями. К слову, за собеседниками Григория в диалоге стоят его острогжские друзья: Афанасий Панков и Яков Долганский. Поэтому мысль Сковороды не прячется в одном «личном» персонаже, как это было прежде, а разливается по всем. Он даже доверяет высказать свой прежний «полемический» опыт Якову, которому, как когда-то Сковороде, «довелось побывать в гостях и напасть там на шайку ученых», что при бутылках и стаканах «разожгли диспут»: какая наука лучше, какое вино полезнее, кто «погубил республику Афинскую», пока, наконец, не «наврали много о богине Минерве».

– Я не мог ничего понять и никакого вкуса не почувствовал, – признается «слушатель академиков». – А в любезной моей книжечке, которую всегда с собой ношу, недавно вычитал, что счастье не от наук, не от чинов, не от богатства, но единственно зависит оттуда, чтобы охотно отдаться на волю божью...

Это был повод – и весьма основательный – для серьезного и неспешного разговора.

Так легко покориться суетной обыденности, блаженно качаться на ее волнах, гибнуть в ее ураганах, жить с оглядкой на «среду» и печалиться затем, что «среда заела». Мы покорны стереотипам и сиюминутной выгоде, мы несем крест и тянем лямку. И в этом шумном, но немом «прохождении жизни» даже не подпускаем к себе мысль, что покоряемся совсем не тому, чему следовало бы, что единственное достойное человека смирение есть покорность «тайным законам» нашего духа. Этика Сковороды, по словам В. Зеньковского, вполне могла бы стать апологией этой покорности.

«Чем кто согласнее с Богом, тем мирнее и счастливее», – повторит в который раз Сковорода. Он же и определит, что это значит – «жить по натуре», не избирать вместо прозорливой или божественной природы себе путеводительницей скотскую и слепую. «Природа есть первоначальная всему причина и самодвижущаяся пружина... Природа зажигает к делу и укрепляет в труде, делая труд сладким».

Отсюда своеобразный сквородинский «прагматизм» – зачем хвататься за какую-нибудь должность, место, звание, дело, не зная, будешь ли в этом счастливым? Зачем превращать счастье работы в тягло, повинность – лишь по незнанию своему, по нежеланию заглянуть в себя и услышать голос глубокой и богообразной природы своей. *«По сей-то причине искушенный врач неудачно лечит. Знающий учитель без успеха учит. Ученый проповедник без вкуса говорит. С приписью подьячий без правды правду пишет. Переврашивший Библию студент без соли вкушает. Во всех сих всегда недостает нечто»*. Недостает «сродности», «сердца», живой искры.

«Совсем телега, кроме колес», – скажет про таких Григорий Варсава и даже пригрозит, что сам бросит «нынешнее свое состояние» и станет последним горшечником, если почувствует, что жил и философствовал до сих пор «без природы», зато старательно замазывал склонность к низкому гончарству. То же касается и обычной дружбы, человеческих отношений, «связей». *«Наше дело познать себя и справиться, с кем обращение иметь мы родились»* – и, может быть, тогда станет понятно, что незачем было ходить за «стадами обезьян философских», вечно «зевающих на мирскую машину, но одну только глинку в ней видящих». Скворода оговорится и посетует: *«Хотя /ведь/ чувствовали, что как-то, что-то, чем-то, тайным каким-то ядом жжжет и мятжит сердце их, но оно как неосвязаемо, так и презираемо было»*. А дел-то всего ничего – бросить перо и лопату взять, завершить разговор и уйти из чужого дома...

«Нужно только познать себя, куда кто рожден. Лучше быть натуральным котом, нежели с ослиной природой львом...»

«Кто безобразит и растлевет всякую должность? Несродность. Кто умерщвляет науки и художества? Несродность. Кто обесчестил чин священнический и монашеский? Несродность. Она каждому званию внутренни яд и убийца...»

«Природа и сродность означают врожденное Божие благоволение, тайный его закон, всю тварь управляющий, – говорит Скворода своим друзьям. – Какое мучение трудиться в неподходящем для тебя деле». Это мучение становится настоящим пристанищем «беса уныния», который «в треск и мятеж душу обращает», наполняет смертной скукой, печалью и завистью и, наконец, ведет к «безобразным дел страшилищам и собственноручным себя убийствам».

Но кого бы из нас, покрытых блестящей пылью обыденного мира, устарила такая перспектива? Кто бы взялся искать природу свою, когда даже не разумеет свои просьбы и молитвы? *«Просим у Бога богатства, а не удовольствия, – сетует Скворода, – великолепного стола, но не вкуса, мягкой постели, да не сладкого сна»*. Словно забыта пословица: не проси дождя, проси урожая.

Басни Харьковские

О пословицах Сквороде не впервой. К той же идее сродности Скворода «приурочит» немало басен. Одна черепаха, к примеру, чья прабабка вздумала у орла учиться летать да разбилась насмерть, проклинала красоту полета: «Пропади оно летать». Пролетавший мимо орел бросил ей в сердцах:

– Слушай ты, дура! Не через то погибла твоя прабабка, что летала, но тем, что принялась не за свое дело.

Слишком проста истина для нашего сложного интеллектуального времени, слишком низка и простонародна. Хотя для интеллектуалов запишем в своих тетрадках: *«Хочешь ли счастливым быть, будь сьт в своей доле»*, – говорит Скворода. «Не желай ничего свыше своих сил», – скажет позднее Ф. Ницше. «Люби то, что тебе предназначено», – выведет формулу дивного нового мира О. Хаксли...

«В седьмом десятке нынешнего века, оставив учительскую должность и уединяясь в лежащих около Харькова лесах, полях, садах, селлах, деревнях и пчельниках, обучал я себя добродетели и поучался в Библии; притом благопристойными игрушками забавляясь, написал полтора десятка басен... А сего года в селе Бабаи умножил оные до половины».

Таким письмом открывал в 1774 году Григорий Варсава свои «Басни харьковские», сборник «мудрых игрушек», которые должны были «таить в себе особую силу».

Обращение к «низкому жанру» не было для Сквороды зазорным. Напротив, он словно взялся доказать совершенно обратное – нет иного способа лучше донести до человека глубокий смысл вечных истин, мораль, символически выраженную в ясных и осязаемых образах и ситуациях. Для философа басня и библейская притча тождественны, да и на фоне морально-этических задач, стоящих перед ним, ему нет смысла рассуждать об особенностях жанра.

«Друг мой! Не презирай баснословия! Басня и притча есть то же. Не по кошельку суди сокровище, праведен суд суди. Басня тогда бывает скверна и бабья, когда в подлой и смешной своей шелухе не заключает зерно истины, похожа на орех пустой».

Этот «забавный и фигурный род писаний» был любим и древними философами, мудрецами, и учениками Христовыми, апостолами. Скворода повторит это не раз и даже определит суть «метода»: *«Мудрые и в игрушках умны и во лжи истинны. Истина их острому взору ясно, как в зеркале, представлялась, а они, увидев живо живой образ истины, уподобили ее различным телесным фигурам».*

Лавр и зимой зелен; истина, заложенная в басне, не тускнеет и просторечная грязь к ней не прилипает...

Уже немало сквородинских басен было рассказано, рассыпано по нашему жизнеописанию. Обращение к басне – не просто выбор жанра, литературной формы. Бумага как благодатное поле, которое рождает и пшеницу, и рожь, и гречиху. Все произрастает из зерен священного писания; и это поле всю жизнь воздвигал Скворода. Все переплелось в его сочинениях: символический мир Библии и символический мир басни есть то же.

«Библия есть для Сквороды именно книга философских притч, символов и эмблем, некий иероглиф бытия», – писал в «Путях русского богословия» Г. Флоровский, определяя «перемешанный» философский мир Сквороды в «категориях платонизирующего символизма». О символизме как характерной особенности метафизики Сквороды говорили в своих очерках Д. Чижевский и В. Эрн. Немного сдержаннее на этот счет оказался В. Зеньковский – он хотя и признал наличие у Сквороды «символизма в онтологическом смысле», все же определил страсть философа к символам как «манеру мыслить», как особенности слога.

Впрочем, каковы бы ни были оценки, сам Сковорода смотрел на символизм именно как на особый мир, «тайнообразный мир», «маленький богообразный мир, или мирик». Он для философа являлся одной из бесспорных основ метафизики. В конце концов, библейский символизм, аллегоризм оформит систему «трех миров», которая войдет во все классические интерпретации творчества Сковороды.

«Первый /мир/ есть всеобщий и мир обитательный, где все рожденное обитает, – писал Сковорода в диалоге „Потоп змиин“. – Сей мир составлен из бесчисленных мир-миров и есть великий мир. Другие два суть частные и малые миры. Первый – микрокосм, сиречь мирик, мирок или человек. Второй мир символический, сиречь Библия. В ней собраны небесных, земных и преисподних тварей фигуры, дабы они были монументами, ведущими мысль нашу в понятие вечной природы, утаенной в тленной так, как рисунок в красках своих...»

Сковорода и сам «рисует» Библию, и она меньше всего походит на книгу в кожаном переплете с медными застежками. Он ищет «фигуру Библии», и чаще всего называет ее Сфинксом, тайну которого и блаженную радость может узреть лишь познавший себя. В «Баснях харьковских» Библия предстает в образе спящего льва, вокруг которого носятся обезьяны – «восставшие идолопоклонничьи мудрецы» – носятся до первого львиного рыка.

«Библия есть завет, запечатлевший внутри себя мир божий... она как заключенный сундук сокровища, как жемчуга мать», – пишет Сковорода. А затем, вспоминая «предревных богословов», повторяет свою любимую мысль, говоря об их умении «невещественное естество божье изобразить тленными фигурами, дабы невидимое было видимым». Стоит ли удивляться, что сквородинское восприятие Библии было названо «системой кодов и знаков», а в его творчестве неизбежно определились «семиотические элементы».

Между тем, ограничиться лишь «семиотическими маркерами» на полях философского творчества Сковороды было бы ошибкой. По сути, аллегорический мир – это далеко не прихоть Григория Варсава. Он семиотичен по определению – как семиотична сама эпоха. Отсутствие собственно философской терминологии, по словам В. Зеньковского, отчасти оправдывает Сковороду за его пристрастие к символам – роль научного термина в суматошную эпоху становления русской мысли могла сыграть лишь аллегория.

Вообще, XVIII век исполнен символами повсеместно; религиозное, богословское, философское и даже «светское» мышление обращается с символами, как истопник с дровами – и чем больше, тем жарче. Пристрастие к знакам тревожило умы. Сам Сковорода, как пишет Ю. Барабаш, еще в юности прослушал в академии философский курс М. Козачинского, где был раздел «О знаках». Скорее всего, Сковорода был знаком и с «Миром символов» Пичинелли, и с петровским изданием «Символов и эмблем». К слову, большое количество «знаковой» литературы принес конец XVIII века с его тотальным увлечением «символичной философией» – хотя бы в виде «масонской культуры».

Как бы то ни было, символический, «третий» мир Сковороды – это не издержки индивидуального творческого метода. Это особый «образ эпохи», ее голос, мантры, видения, угол зрения. Обойти этот мир стороной Сковороды не мог – как не смог, к примеру, обойти критику чистого разума русский философский Ренессанс...

Свитка и посох

История, как это ни парадоксально, не слишком бережно относится к судьбе человека, путает даты и факты, подчас стирает их подобно тому, как из памяти компьютера удаляют ненужные файлы и программы. Но образ человека, украшенный всевозможными байками и легендами, для нее все же ценен, притягателен. Биограф, призванный быть беспристрастным, и тот зачастую воспринимает судьбу своего героя импрессионистически. Что ж, в этом есть определенная красота – обычно-человеческая, по меньшей мере.

Во многих домах на Украине висели копии с портрета Сковороды. Вот он, с острым носом, темноволосый, со стрижкой «в кружок», под шапочку, с гладким, почти юношеским лицом, на котором нет ни одной морщины, словно художник нарочно задался целью не подпускать к Сковороде время. Неизменна в народном восприятии «атрибутика» Сковороды: посох странника, серая свитка, сапоги про запас, несколько подшивок работ, Библия, его «невеста», и флейта.

Странник – странный человек. Стоит ли удивляться, что имя Сковороды быстро обросло легендами, преданиями? Оно мифологизировалось – еще при жизни философа, – дополнилось новыми «фактами» и «детальями»; его примеривало массовое сознание к обычным ценностям обычной жизни.

Именно мифологическое сознание, переплетенное с «эротической прозой» человеческой жизни, попытается Григория Варсаву женить. И. Срезневский в своем рассказе «Майор, майор!», этом пыльном раритете начала XIX века, выписывая образ русского Сократа, приведет совершенно романтическую историю любви. На одном из хуторов, будучи в гостях у некоего майора, Сковорода безумно влюбился в его дочь Елену и настолько потерял голову, что был готов немедленно жениться. Не смутило рассказчика даже то, что Григорию Варсаве к «моменту этой истории» шел уже пятый десяток – совсем не тот возраст, чтобы впасть в подростковый инфантилизм. Да и основные философские взгляды на мир и на вещи в эту пору у него сложились, и дочь майора в эту систему не вписывалась.

Развязка истории будет в духе романтических повестей Пушкина – невеста ждала Сковороду в церкви, а он в самую последнюю минуту сбежал из-под венца.

Не станем дополнительно опровергать самоочевидную нелепость этой истории. К тому же многие исследователи сделали подобное за нас, подчеркивая, что ни романтического аспекта, ни женщин в жизни Сковороды не было, что его жизненная энергия сублимировалась совсем в других формах. Но заметим другое. Бывальщина о женитьбе Сковороды оказалась весьма живучей – некоторые наши современники уже с полной уверенностью заявляют о ней как о биографическом факте и размещают свои «справки о жизни философа» в мировой паутине, подтверждая тем самым, что *торжество мифологии над историей становится научно-романтической нормой нашего века*.

О Сковороде рассказывали много интересных историй. Например, Г. П. Данилевский в «Украинской старине» пересказывает легенду о том, что Екатерина II, зная о философе, «дивилась его жизни, уважала его славу и однажды, чрез Потемкина, послала ему приглашение из Украины переселиться в столицу». Сковорода ответил в своем духе: «Свирель и овца дороже царского венца». По другой легенде, Григорий Варсава все же встретился с императрицей, но «говорил с дерзкой независимостью».

Молва знакомила или связывала Сковороду с разными известными людьми того времени. Например, со знаменитым «пешеходцем» Василием Барским, который странствовал по миру четверть века, прошел Европу, Грецию, Египет, Сирию, долгое время жил на Афоне. Рассказывают, что когда он, больной и разбитый, вернулся в Киев и умер через месяц, на его похороны вышел весь город, в том числе и Сковорода.

Странник странника видит издалека...

«Мысли сердечные: они и не видны, как будто их нет, но от сей искры весь пожар, мятеж и сокрушение; от сего зерна зависит целое жизни нашей дерево», – говорит Сковорода, говорит в том числе и для биографа, который растерянно стоит перед последним двадцатилетием его жизни и не знает, о чем рассказать, как увеселить читателя красочными событиями, какую историю найти, чтобы расцветить серый в своем постоянстве движения образ странника.

Последние двадцать лет жизни философа – удивительно ровное время. Двадцать лет прожиты словно в один день. Здесь нет ничего внешне мятущегося, нет никакой сумятицы, никаких приключений. Нет и никаких впечатлений странника, которые можно было бы записать на бумагу. Это у Василия Барского были Иерусалим и Антиохия, Палестина и Афон, подобно тому, как у Афанасия Никитина были свои три моря. У Сковороды же – роща зелена, обычная хатка да жужжание пчел на пасеке. Нет ничего большого, величественного, ничего значительного и престижного, к чему так стремится турист-путешественник. Не это определяло суть его жизни.

«Сковорода считал себя *пришельцем* на земле в полном смысле этого слова, – говорил о своем друге М. Ковалинский и следом приводил сквородинскую географию. – В силу разных обстоятельств он жил у многих... постоянного жилища он не имел нигде... Полюбив Тевяшова, воронежского помещика, жил у него в селе и написал там сочинение „Икона Алкивиадская“, которое и посвятил ему в память о признательности своей к дому этому. Потом имел он пребывание в Бурлуках у Захаржевского, из-за приятных природных видов жил у Щербинина в Бабаях, у Ковалевского в Ивановке, у друга своего в Хотетове, некоторое время в монастырях Старо-Харьковском, Ахтырском, Сумском, Святогорском, Сеннянском и прочих».

Он живет также у Земборских в Гужвинском, у Сошальских в Гусинках, бывает в Китаевой пустыни близ Киева. «Его жизнь, – пишет биограф, – принимает вид постоянных переходов, хождений пешком за сотни верст и кратких отдыхов у немногих, которых он любил и которые гордились его посещениями».

Сердечные мысли и без того невидимы, чтобы их еще прятать за блестящими безделушками суетного мира. «Сковорода мог бы составить себе подарками порядочное состояние, – пишет еще один биограф философа В. Гесс де Кальве, и пишет, подчиняясь мирским интересам, печалась за утраченные Сковородой возможности. – Но что бы ему не предлагали, сколько ни просили, он всегда отказывал, говоря – дайте неимущему, и сам довольствовался серой свитой».

«В крайней бедности, – продолжает В. Гесс де Кальве, – переходил Сковорода по Украине из одного дома в другой... Никто во всякое время года не видал его иначе, как пешком. Также малейший вид вознаграждения огорчал его душу... Он обыкновенно приставал к убогой хижине пасечника. Несколько книг составляли все его имущество».

Тихим было его пребывание у друзей. М. Ковалинский рассказывал, как Григорий Варсава гостил у Сошальских: «Усталый приходил он к престарелому пчелинцу, недалеко живущему на пасеке, брал с собой в сотоварищество любимого пса своего и трое, составя общество, разделяли они между собой «вечерю».

Странная жизнь странного человека. Чем занят, что делает? В одном из писем он подробно – и мы вслед за ним – ответит, словно пожелает раз и навсегда пресечь досужие разговоры и расспросы.

«Ангел мой хранитель ныне со мной веселится пустынею. Я к ней рожден. Старость, нищета, смирение, беспечность, незлобие суть мои в ней сожигательницы. Я их люблю, и оне мене...»

Недавно некто о мне спрашивал: скажите, что он там делает? Если б я в пустыне от телесных болезней лечился или оберегал пчел, или ловил зверя, тогда бы Сковорода казался им занят делом. А без сего думают, что я празден и не без причины удивляются. Правда, что праздность тяжелее гор Кавказских.

Так только ли разве всего дела для человека: продавать, покупать, жениться, посягать, воевать, портняжить, строиться, ловить зверя? Здесь ли наше сердце неисходно всегда? Так вот же сейчас видна причина нашей бедности: погрузив все сердце наше в приобретение и в море телесных надобностей, мы не имеем времени вникнуть внутрь себя, очистить и поврачевать самую госпожу тыла нашего – душу нашу...

Не всем ли мы изобильны? Точно, всем и всяким добром телесным; одной только души нашей не имеем. Есть, правда, в нас и душа, но такова, как у шкробутика или подагрика ноги; она в нас расслаблена, грустна, своенравна, боязлива, завистлива, жадна, ничем недовольна, сама на себя гневна, тощая, бледная, точно пациент из лазарета, каковых часто живых погребают по указу. Такая душа если в бархат оделась, не гроб ли ей бархат? Если в светлых чертогах пирует, не ад ли ей?

Если /душа/ изныет и болит, кто или что увеселит ее? Ах, государь, плывите по морю и возводите очи к гавани. Не забудьте себя среди изобилий ваших. Не о едином хлебе жив будет человек. О сем последнем ангельском хлебе день и ночь печется Сковорода...»

Таков род его занятий. И если Сковороду, по словам Ковалинского, лишь немногие знали таким, какой он есть на самом деле, то глубину его работы чувствовали и связывали с уникальным русским явлением религиозной жизни – старчеством. Тот же И. Срезневский, напечатавший свою повесть в 1836 году в «Московском наблюдателе», «придумает» примечательный диалог:

– Что же, – спросил Сковороду майор, – ты хочешь век остаться бродягой?

– Бродягой – нет, – ответил Сковорода. – Я странствую, как и все, и *старцем навсегда останусь*; этот сан как раз по мне...

Старчество стало ключевым в восприятии образа Сковороды-странника.

«На Украине, – рассказывает А. Хиджеу в „Сковородинском Идиотиконе“ (В. Эрн называет эти разъяснения „драгоценными“), – ведется особый, почти наследственный цех нищих, называемых старцами. Они пользуются большим уважением у простого народа и сами отличают себя от обыкновенных нищих-дедов и Жебраков. Это люди бывалые, носители народной мудрости. Я был свидетелем спора двух старцев. Я старце, а ты-то какой-нибудь найденыш... И теперь поселяне часто ссылаются на суд старцев, и в некотором отношении их можно бы назвать *бродящими судьями Мира*».

Со Сковородой это суждение соотносимо, но ничуть не до конца, чтобы ставить итоговую точку.

«Отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием, и достигаю тем, с помощью божьей, свободы духа, а с нею и веселья духовного». И эти наставления старца Зосимы соотносимы со Сковородой лишь отчасти. А «старцы» Достоевского, «берущие вашу душу и вашу волю в свою душу и свою волю» – не соотносимы вовсе.

Мемуаристы рассказывают, что Сковорода имел большое влияние на людей, мог укротить даже крайне вспыльчивый нрав. В своих письмах, если с кем успеет подружиться, он жаждал беседы, наставляет, утешает и вдохновенно проповедует Христа. И не только в письмах. «Он был жарким собеседником и красноречивым оратором, – пишет В. Эрн, – умел незаметно входить в разговор, пересыпая речь шутками, брать нить беседы в свои руки и делать ее неожиданно значительной и памятной».

«Простой народ был ему ближе, ибо из него он вышел и к нему возвратился», – продолжает Эрн и цитирует философа: *«Барская умность, будто простой народ есть черный, кажется мне смешной, как умность тех названных философов, что земля есть мертвая. Как мертвой матери рождают живых детей? И как из утробы черного народа вылупились белые господа?»*

О простонародном образе жизни пишет и Ф. Лубяновский: «Страсть его была – жить в крестьянском кругу. Любил он переходить из слободы в слободу, из села в село, из хутора в хутор. Везде и всеми был встречаем и провожаем с любовью, у всех он был свой. Хозяин дома, когда он входил, прежде всего, всматривался, не нужно ли было что-либо поправить, почистить, переменить в его одеянии и обуви: все то немедленно и делалось. Жители тех особенно слобод, где он чаще и долее оставался, любили его, как родного. Он отдавал им все, что имел: не золото и серебро, а добрые советы, увещевания, наставления, дружеские попреки за несогласия, неправду, нетрезвость, недобросовестность».

И все же странствующим «народным философом» Сковорода не стал. Непонимание и сам чувствовал. *«О мне говорят, что я ношу свечу перед слепцами, а без очей не узреть свечоточа; на меня остряют, что я звонарь для глухих, а глухому не до гулу: пускай остряют. Они знают свое дело, а я знаю мое и делаю мое, как знаю, и моя тяга мне успокоение...»*

В начале XIX века станет популярным еще одно суждение о Сковороде. Словно подводя итог досужим разговорам, товарищ И. Срезневского Орест Ивецкий выступит в 1831 году в «Телескопе» с письмом по поводу Сковороды: «Он есть отпечаток настоящего малороссийского *юродивого*, которых не столь удачные осколки можно встретить в этой стороне довольно часто. Однако ж он нередко терял и этот свой первообраз и доходил состояния, в коем, по пословице, ум за разум заходит...»

Все переплелось, перемешалось в Сковороде – и это к лучшему.

Сковорода вошел в русское старчество, но старцем не стал. В нем год за годом укреплялся аскет, но не укреплялся инок. Он был народен и вместе с тем странен для народа. Он ходил нищим странствующим мудрецом, но в «мандрованных дядьках», которых так много было на Украине, не растворился. Мир похвалил его за сумасшествие – благо, что не поймал.

Кто он, старец Григорий Варсава?..

Сковородинские тени

«Что такое жизнь? – спрашивает Сковорода. – Это странствие: прокладываю себе дорогу, не зная, куда идти, зачем идти». Много позднее Лев Шестов повторит, что человек должен научиться жить в неизвестности. Именно неизвестность была и остается прерогативой свободного человека.

Сковорода был удивительно свободен – и в жизни, и в мысли. Эту свободу ставят во главу угла творчества философа и В. Эрн, и В. Зеньковский, и целый ряд исследователей. Эта свобода, и, прежде всего, свобода религиозная, не может не пленять, не завораживать, не будоражить воображение биографа, чья жизнь течет между книжным шкафом и экраном монитора на рабочем столе. «Дух свободы имеет в Сковороде характер религиозного императива, а не буйства недоверчивого ума», – пишет В. Зеньковский и называет его *свободным церковным мыслителем*, который всегда чувствовал себя членом церкви, но твердо хранил свободу мысли. «Всякое стеснение ищущей мысли казалось ему отпадением от церковной правды».

«Философствование во Христе» в пику «мудрствований мертвых сердец» будет воспринято более чем неоднозначно. Со «спящими на Библии церемонистами», упрекавшими Сковороду в ереси и богохульстве, – дело понятное и уже нам известное. Их не могло устраивать, что философ не принял обычных «условных церковных схем», какие нивелируют пытливые умы, а вместо того, «прикрывшись Библией», принялся мыслить по-живому, что у многих перехватывало дыхание от его резких суждений.

Совершенно иной разговор о тех, кто если и не назвал Григория Варсаву «расколоучителем», то как минимум записал его в сектанты.

В 1912 году в Петербурге вышло собрание сочинений Сковороды, вышло в весьма примечательной серии: «Материалы к истории и изучению русского сектантства и старообрядчества». Этим подводился итог достаточно распространенному мнению о *сектантской душе* Сковороды.

В. Бонч-Бруевич, готовивший это издание, сообщал в одном из писем (цит. по Ю. Барабашу): «Когда я занимался изучением древнего сектантства в России и очень подробно изучал все устные и письменные записи духовборцев, то я натолкнулся на целый ряд положений, которые были взяты из сочинений Сковороды. Кроме того, видно, что у них сохранилась память о старчике Грише, который был „полного разума“. Имейте в виду, чтобы получить от духовборцев наименование „полный разум“, надо быть особо выдающимся человеком. За всю долгую историю они этим именем называли всего пять человек».

«Имя Сковороды у молокан считается чуть ли не Апостольским», – констатирует другой исследователь, Ф. Ливанов. «Общего у Григория Сковороды с духовборцами было так много, что, в известном смысле, его можно назвать богословом духовборчества как религиозного движения», – продолжают традицию некоторые современные исследователи и даже (надеемся на грамматическую ошибку) мифологически переводят восприятие в фактографию: «Именно Григорию Сковороде духовборцы *доверили составить изложение* своего вероисповедания».

Точек пересечения философского творчества Сковороды с сектантской идеологией, действительно, много. «Духовные христиане» видели в Сковороде своего провозвестника по целому ряду причин, и отождествления идей здесь принципиальны.

Духоборам, как пишет о том Н. Бердяев, была чрезвычайно близка идея отрицания человека как «самобытного бытия». Все человеческое есть лишь оболочка, скорлупа от ореха, тень. «Сей всяк человек ложный: сень, тьма, пар, тлень, сон», – цитируют они Сковороду. Им ненавистен «содомский человек из плоти и крови и будто из брения и грязи горшок». Что есть чело-

век? – спрашивают они и возвращаются за ответом к Сковороде, выбирая, собственно, лишь то, что хотят услышать:

Он *«шевелится и красуется, как обезьяна; болтает и велеречит, как римская Цитерия; чувствует, как кумир; мудрствует, как идол; осязает, как преисподний крот; щупает, как безокий; гордится, как безумный; изменяется, как луна; беспокоится, как сатана; паучится, как паучина; алчен, как пес; жаден, как водная болезнь; лукав, как змий; ласков, как крокодил; постоянен, как море; верный, как ветер; надежный, как лед; рассыпчив, как прах; исчезает, как сон...»*

«Не мешкай на содомских улицах», – учил Сковорода, и духовные христиане уходили из культурной и социальной жизни, бежали от грехов цивилизации в поисках божественной красоты. Прав Н. Бердяев – Русь странническая может легко превратиться в Русь сектантскую.

«Одно только для тебя нужное, одно же только и благое – Бог», – говорил Сковорода. Бога в свое сердце вовсе селить не нужно – он и без того изначально в нем живет. Посмотри внутрь себя и увидишь. И это тоже импонировало «духовным христианам». Они всегда будут благодарны старцу Григорию за то, что тот Богом их не «пугал», не видел в нем карающего меча, не шел по византийской традиции за Спасом-Ярое-Око, отдав предпочтение глубоко человеческой сыновней любви к Нему.

Современные духовборческие «апокрифы» примечательны. «Григорий Сковорода благовествовал людям Божие благоволение и счастье иметь Бога Царем своего сердца. Он и сам живым примером, свою жизнь являл народу счастливого человека, человека молитвы, веры и светлого разума... Те места, по которым прошел этот великий Божий человек, станут в свое время очагом евангельского пробуждения...»

Источник неиссякаемого счастья видели в Боге и хлысты, которые, в противовес духовборам, искали не столько правду, сколько радость и блаженство. «Эпикурейский Христос» был для них подлинным открытием. Глубокий мистический смысл видели они и в ахтырском происшествии Сковороды, в его «счастливой экзальтации в честь избавления от киевской чумы».

Сковорода и своим учением, и своей жизнью словно удовлетворял «глубокую мистическую жажду, заложенную в русском сектантстве». И хотя Бердяев имя Сковороды не называет, но его дыхание подкожно чувствует. Поэтому и рассказывает, как несколько лет жил в деревне в Харьковской губернии, где по соседству какие только секты не расположились. «Я много беседовал с этими людьми, и некоторые духовные типы запомнились мне навеки. Знаю твердо, что Россия немыслима без этих людей, что без них душа России лишилась бы самых характерных, существенных и ценных своих черт».

Харьковская губерния – «сковородинское пристанище и подорожье» – по духовборам, места святые...

«Бесцерковный аскетизм был пробуждением мечтательности и воображения, – пишет вслед своим заметкам о Сковороде Г. Флоровский. – Развивается какая-то нездоровая искаженность духа, мистическое любопытство. Вторая половина XVIII века вообще отмечена каким-то мечтательным и мистическим подъемом в народных массах. Это было время развития или возникновения всех основных русских сект: хлыстовства, скопчества, духовборства, молоканства».

Сковороду можно зачислить и в народные массы, и в интеллектуальную элиту своего времени, которую все же меньше всего нужно судить по одежке. Стоит ли удивляться, что откровения Григория Варсава, пусть и опосредованно, были причислены еще к одной «святой когорте» – к масонству, к масонскому опыту, который дал «много новых и острых впечатлений рождавшейся тогда русской интеллигенции».

В екатерининскую эпоху масонство вслед за просвещением широкими волнами разливалось по России, которая словно устала от святоотеческих откровений и церковной мистики и теперь ждала обновления из «частных» и «светских» рук. Не будь Сковорода столь простонароден и нетитулован, его бы, философа-мистика и философа-странника, записали бы в апологеты русского масонства. К тому же выходцы из Киевской академии в масонах были – достаточно вспомнить Семена Гамалею, «совесть московского масонства», близкого друга Н. И. Новикова.

Повторимся: масоном Григорий Варсава не был. Сегодня это признают все биографы и не видят смысла оспаривать этот факт. Наряду с этим по страницам исследований разбросана и так любимая исторической беллетристикой лукавая условная фактография – Сковорода, *возможно*, читал Вейгеля, Якоба Беме, Сен-Мартена. Затем эта «возможность» перерастает в уверенность – не мог не читать. Благо, сам путешествовал по Европе; благо, в России появилось множество книг европейских мистиков. Тот же Гамалея перевел 22 тома сочинений Я. Беме.

Как бы то ни было, Сковорода о масонах слышал, но ничуть не проникся ими – закрытость и обособленничество, «игра в религиозный культ» не притягивала, не отвечала его образу мысли. М. Ковалинский совершенно однозначно разводит Сковороду с мартинистами по разные стороны. Он вспоминал, как однажды разговор зашел о сектах.

– *Всякая секта, – говорил Сковорода, – пахнет собственностью, а где собственному мудрие, там нет главной цели и главной мудрости. Я не знаю мартинистов, ни понятий, ни учений их; если они обособляются в обрядах и правилах, чтобы казаться мудрыми, то я не хочу их знать; если же они мудрствуют по простоте сердца своего, чтобы стать полезными гражданами общества, то я почитаю их; но для этого им не следует обособляться... Закон природы, как самый нужный для человеческого блага, есть всеобщий, и он запечатлен в сердце каждого, дан всякому существу, даже последней песчинке.*

«Человек обособляется? Да и бог с ним, пусть обособляется!» – скажет позднее в сердцах Ф. М. Достоевский. Обособленничество – как сухая ветка на дереве: не нужны ей ни листья, ни солнце, ни благодатный дождь, лишь скрипит на ветру – скоро ли падать?

Сковорода, без тени сомнения отождествивший масонов с хлыстами и любой другой сектой, завершит разговор жестко и емко:

– *Любовь к ближнему не имеет никакой секты: на ней висят все пророки и весь закон...*

Григорий Варсава в том мистическом и религиозном горниле был со всеми, но ни с кем не остался. «Свой среди чужих, чужой среди своих» – таким его и воспринимали. Но это и показательно. По сути, столь значительное разночтение философского творчества Сковороды есть свидетельство «хаоса рождения» русской мысли. В этом хаосе не предсказуемы ни повороты, ни итоги, ни идеи, ни слова; в нем невозможно добиться однозначности, ясности, логики, системы; оно не ищет сторонников и последователей, предоставляя каждому двигаться куда глаза глядят: по бездорожью. Но кто бы стал в сковородинскую эпоху мостить философскую улицу – дай бог камни собрать.

Мистицизм Сковороды вкупе с его простонародным прагматизмом – лишь всполохи зари, где все невесомо, зыбко. И мысли щелкают, как в счетчике Гейгера – не проявляясь четко, но возбуждая. И уже так ощутимо, что молодая русская мысль – тот лев, которому осталась лишь секунда до пробуждения...

Сны странника

В 1788 году Сковорода подарил М. Ковалинскому еще одну книжечку: «Брань архистратига Михаила с сатаной: Легко ли быть благим?» Он писал ее пять лет назад, вначале в Буркулаках, затем в Бабах. Подписался по «заочному знакомству» – старец Варсава Даниил Мейнгард. Сделал и важное признание: «*Сие видение я, старец Даниил Варсава, воистину видел. Написал же в просвещение невеждам блаженным оным: «Дай премудрому повод ...»*

Видел Григорий Варсава, как сатана на крыльях летучей мыши поднялся к пределам атмосферы, окинул ночным глазом лучезарный дом и возопил:

– К чему сей дом сотворен?

Ему навстречу вышел со золотыми крыльями архистратиг, «над вождями вождь», Михаил:

– О враг божий! Почто ты здесь? И что тебе здесь?

А у сатаны-то и других дел не было, кроме одного вопроса – того самого, что лежит в основе метафизики Сковороды. Говорил сатана, что, однако, претрудно быть жителем небесным, не каждому дано пройти испытания, человеку в силу его характера не бывать в чертогах небесных. Оттого-то опустошены небеса – благим быть трудно. И как бы мы ни старались, не пролезть нам в это царство.

Слышал Григорий Варсава, как сатана пел свои блудогласные песенки:

*Жесток и горек труд
Быть жителем небес.
Весел и гладок путь —
Жить, как живет весь мир.*

Архистратиг Михаил не стерпел, крикнул на «сатанинский догмат»:

– Это удочка, всех уловляющая! Это ключ, все врата ада отрывающий. Это соблазн, всем путь на небеса оскорбляющий! О украшенная гробница царская, полная мертвых костей и праха, мир блудословный! Прельщаешь старых, молодых и детей. Вяжешь в прелести, как птенцов в сети!..

И, подняв молниевидное копьё, поразил алмазным острием сатану в самое сердце его и поверг его в облако вечернее.

Видел Григорий Варсава, как вокруг Михаила собрались ангелы и смотрят с лучезарных высот вниз на грешную землю. Вот по ней идет бедный страдалец, сребролюбец, весь обременен мешками, сумками, кошельками, как навьюченный верблюд, – и каждый шаг ему мукой.

Пусть я в свете скверен – только был бы богат.

Сейчас не в моде совесть, но золото идет в лад.

Как нажил, не спросят, только бы жирный был грош.

Поет так, будто выпал из нашего «новорусского» времени, где блаженны богатые, ибо «их есть царствие всяких утех». Идет не один – «сей беспокойный путь толпами людей, как торговыми, засорен».

Видел Григорий Варсава глазами ангелов странное зрелище – пять человек бредут в преобширных плащах, на пять локтей по пути волокущихся. На головах капюшоны. В руках не жезлы, но колья. На шее каждого по колоколу с веревкой. Сумами, иконами, книгами обвешаны. Едва-едва движутся, как быки, колокол везущие.

– Сии суть лицемеры, – говорит Рафаил, – мартышки истинной святости: они долго молятся в костелах, непрестанно псалтырь барабанят, строят церкви и снабжают, бродят поклонниками по Иерусалимам, по лицу святы, по сердцу всех беззаконнее. Сребролюбивы,

честолюбивы, стаслюбивы, ласкатели, сводники, немилосердны, непримиримы, радующиеся злом соседским, полагающие в прибылях благочестие, целующие всяк день заповеди господни и за алтын оные продающие... Вся их молитва в том, чтобы роптать на Бога и просить тленности.

Их тягучая песня тоже слышна:

*Боже, восстань, что спишь?
Почто о нас не радишь?..
Мы ж тебе святилища ставим,
Всякий день молитвы правим!
И забыл ты всех нас...*

Видел Григорий Варсава и сам себя и слышал, как он нем ангелы говорят. Вот идет странник, шествует с жезлом веселыми ногами, почивает то на холме, то при источниках, вкушает пищу беспритворную, спит сладостно и теми же божьими видениями во сне и вне сна наслаждается. «День его – век ему и есть как тысяча лет, и за тысячу лет нечестивых не продаст его. Он по миру больше всех нищий, но по Богу всех богаче».

– Он один нам есть милейшее зрелище, паче всех содомлян. Мы же его poznали. Сей есть друг наш Даниил Варсава...

«Нужное» и «трудное» становится своеобразным философским камнем преткновения позднего Сковороды. Он интуитивно чувствует, что именно эта проблема лежит в основе этики, нравственной теологии, определяя поведение человека, его устремления и чаяния. Она является незримым мостом между религиозностью и светским миром; она призвана взрастить в человеке зерна божественных заповедей. Именно она должна разрушить стереотип о мучительной трудности жить в боге, гореть изнутри Божьим светом, быть благим.

Сатана перековал нужное на трудное и тем осквернил Христово благоухание. Отсюда, по Сковороде, то зло, которое прорастает в человеке и пагубой разливается вокруг него. «Поет Христос: *«Нужное есть царство божье»*. Дьявол подпевает: *«Трудное есть царство божье»*.

В этой «песне» – все оттенки философского поиска Сковороды. «*Нужность с трудностью так не вмещается, как свет со тьмою, – пишет философ. – Нужно солнце – трудно же ли? Нужен огонь, а труден ли? Нужен воздух, но труден ли? Нужна земля и вода, и кто без нее? Видите нужность? Где же при боку ее трудность? Ах, исчезла! Нет ей места в чертогах непорочной и блаженной нужности!..»*

Но разве человек слышит кого-нибудь? Его воля жаждет преодолевать трудности и снова создавать их в круговерти суетного мира. Его безволие ведет по течению – куда закрутит. Его своеволие не желает иного букваря, иного алфавита, кроме того, что уже затерт до дыр искусственным светом.

Да нужно ли это? «*В аду все делается то, что не нужное, что лишнее, что не надобное, не приличное, противное, вредное, пакостное, гнусное, дурное, непригожее, скверное, мучительное, нечестивое, богомерзкое, проклятое, мирское, плотское, тленное, ветреное, дорогое, редкое, модное, заботное, разорительное, погубительное... и прочий неусыпающий червь...»*

Да не пожрет меня бездна мирская...

Соотношение «трудности» и «нужности» в творчестве Сковороды не было однозначным, оно переживало свою эволюцию. В «Баснях харьковских» есть одна примечательная история. Однажды змею, сбросившую по весне кожу, увидел Буффон, жаба. Отвечая на вопрос, как же так удалось преобразиться и омолодиться, Змея привела Буффона к узкой расщелине между камней:

– Вот извольте проползти сквозь узкий проход. И тот час же обновитесь, оставив всю негодность по другую сторону.

Но разве Буффону такое возможно? И последнюю кожу на камнях оставит. Остались каждый при своем.

Здесь бы вывести логичную мораль – пусть каждый делает то, к чему сроден. Но Скворода подводит совершенно иной итог: «*Чем лучшее добро, тем большим трудом окопалось, как рвом. Кто туда не перейдет, к добру тот не пройдет*». Вот и поставил игольное ушко перед царствием небесным – обретет лишь избранный; для других же – невозможно, трудно, недостижимо.

Эта басня в творчестве философа будет иметь свое неожиданное продолжение.

– Ты ли написал 30 притчей и дарил их Афанасию Панкову?

– Воистину так есть. Он есть друг Варсава.

– Помнишь ли одну из них, в которой беседует Буффон со змеем, обновившем юность?

– Помню. Я эту притчу увенчал толкованием таким: «Чем больше добро, тем большим трудом окопалось, как рвом».

– А-а, новый архитектор! Сейчас-то ты мне попал в силоч.

– Исповедую прегрешение свое...

Так отвечал Григорий Варсава бесу, Даймону, который явился к нему в пустыне, довольный и счастливый, что нашел в баснях «новые догматы», столь приятные дявольскому сердцу – да, жестоким трудом ограждено царство божье, и путь к нему тесен, и приступ прискорбен. «Ругаясь с бесом», пришлось Сквороде и каяться; пришлось защищать священную Библию, противоречия которой так легко и лукаво становились бесовскими аргументами.

– *Разве тесны ворота?* – спрашивает Григорий Варсава. – *Тесны, верно, верблюду, но человеку довольно широкие.*

Беда в том, что не желает человек оставить у ворот мирское бремя – тюки, свертки, авоськи, сумки, мешки с богатством и страстями мира. А вместо этого «тяготу свою, в которой сам суть виновен, возвергает на царство божье». «*Не лай на открытые ворота блаженства! Открытые ворота не виновны суть малости спасаемых*». Да и кого винить, что в открытые двери налегке не входят; что уподобляются дрозду, который, увязая в своем помете, становится легкой добычей охотника; что в сердечной бездне рождают сами легионы темных духов?

«*Воля – вот ненасытный ад и яд всему*», – говорит Скворода и делает принципиально важное замечание: «*Не одна, но две воли тебе даны. Две воли есть сугубо естественный путь – правый и левый. Но вы, возлюбив волю вашей больше воли божьей, вечно сокрушаетесь на пути грешных. Не сам ли ты причина?»*

Невозможно «правое» без «левого». Господь сотворил смерти и жизнь, добро и зло, нищету и богатство и *слепил их воедино*. Это единство для Сквороды является напряженной реальностью, неоспоримым фактом – реально богом данное добро и реально богом же данное зло. Своего противника в споре, Даймона, Скворода называет «врагом и другом» одновременно и даже просит прощения, что «нужда заставила и на него ополчиться».

Все слито воедино. Настоящим символом этого двуначалия станет библейский Змий.

В 1791 году Скворода преподнесет М. Ковалинскому «Потом Змиин» – диалог Души и Нетленного Духа. С этой книжечкой приключилась своя история. «*Я эту книжечку написал в Бурлуках, забавляя праздность. Она была украдена. Но я, напав на список, исправил, умножил и кончил*». Кому понадобилась рукопись Сквороды – неизвестно. Но на «автографы», к счастью, не разошлась. К тому же многие знакомые Сквороды стали побаиваться его размышлений и даже видели в них «искушение змиево», которому «поддался» философ.

Не могла, к примеру, не смутить ирония Сквороды в части трактовок Священного писания. «*Очень нам смешным кажется сотворение мира*», – говорит один из сквородин-

ских героев и добавляет, что этот мир существовал и прежде, чем Моисей «слепил книгу бытия». Слишком обширен список «библейских несуразностей», приведенный Сковородой. *«Возможно ли, чтоб Енох с Илиею залетели будто в небо? Сносно ли натуре, чтоб остановил Навин солнце? Чтоб возвратился Иордан, чтоб плавало железо? Чтоб дева по рождестве осталась? Чтоб человек воскрес?..»*

Но позднему Сковороде не до шуток и тем более не до мнимой оригинальности или желания прослыть «опаснейшим чудаком».

«Библия есть и Бог, и змей, – говорит он удивительные вещи. – Знаешь ведь, что змей есть; знай же, что он же и Бог есть... Юрод, но премудр. Зол, но он же и благ...»

«Почему же тебе тот змей чересчур страшен? – продолжает Григорий Варсава. – Он не всегда вредит и юродствует, но бывает и вкусный и полезный. Если наиптал Еве по-сатанински, может и Марии возблаговестить по-архангельски...»

Много бед от змия. *«Взгляни на весь сей земной шар и на весь бедный род человеческий. Видишь ли, сколь мучительным и бедственным потоком ересей, раздоров, суеверий, многоверий и разноверий волнуется, обуревается и потопляется. А сей же ведь весь потом не свыше нам дан, но адская змеиная челюсть, отрывая, отпрыгнула...»* В этом потоке и погряз человек, «как олово в водах»; земля слухом наполнена – найдется ли место для мудрости?

Есть спасение от Змия – и Сковорода исполнен «мистического оптимизма», жажды преобразования тьмы в свет, нечестивого – в блаженного, ядовитого – в спасительного, мертвого – в живого. Нужно, по завету, поднять «змея чудного сего» и вознести вверх, ввысь, ибо «он только тогда вреден, когда по земле ползает». Есть и условие. *«Кто горы переносит и змея поднимает? Вера. Подними прежде не змеиное, но твое самое сердце к вечному. А змей во след твой самовольно вознесется в гору и повиснет на дереве».*

Парадоксы Змия и парадоксы Сковороды – суть то же. В своих неожиданных формулах и отождествлениях Сковорода, по словам В. Зеньковского, восходит к традиции древних гностиков. *«Острая непримиримость зла с добром /для него/ есть факт, касающийся лишь эмпирической сферы, – пишет исследователь. – Различие зла и добра за пределами эмпирии стирается».* Преодолеть зло возможно только через преодоление его эмпирической стороны. Для Сковороды совершенно очевидно, что непосредственные ощущения, безудержная игра красок мира и пороков человека *застят* путь преобразования, не дают из «лживой земли блеснуть правде божьей».

«Зло открывается нам как путь к добру», – определит ключевое звено метафизики позднего Сковороды В. Зеньковский. Определит, может быть, в силу важнейшей для русской философии темы «злого добра» и «доброего зла». Да и сам Сковорода выскажется недвусмысленно, смешав все в одном громокипящем кубке: «Что есть Библия, если не мир? Что есть мир, если не идол деирский? Что есть золотая глава его, если не солнце? Что есть солнце, если не огненное море? Не все ли переплывшие мучаются в огненной бездне?..»

Три недели

– Не смешно ли, что все в пекле, а боятся, чтобы не попасть? – спрашивал он своего друга Михаила Ковалинского. А тот и не знал, что ему ответить. Обманул его «проклятый Иерихон», высший свет удалил его от себя самого, усыпил доверие к внутреннему голосу, остудил жар истинного любомудрия.

Девятнадцать лет бродил Ковалинский в блестящей пыли богатых столиц, «свет облагодетельствовал его своими дарами, наложил на него сон, дал ему жену, друзей, приятелей, благодетелей, житейские связи и выгоду... Он увидел в счастье – превращение, в друзьях – измену, в надеждах – обман, в утехах – пустоту, в союзах – ненадежность, в ближних – охлаждение, в своих – лесть».

«Удрученный, изможденный, истощенный волнениями света, он обратился к самому себе, собрал рассеянные мысли в малый круг желаний и отбыл из столицы в деревню, так как надеялся там найти берег и пристань в своих житейских бурях, – продолжал рассказывать о себе Ковалинский. – Но свет и там все исказил. В глубоком одиночестве он остался один, без семьи, без друзей, без знакомых, в болезни, в печали, в беспокойстве, без всякого участия, совета, помощи и соболезнования».

«Божий промысел увидел его на развалинах бытия его, воздвигнул дух мудрого, сердце друга. Семидесятитрехлетний Сковорода, одержимый болезнями старости, несмотря на дальний путь, ненастную погоду и всегдашнее отвращение к этому краю, приехал в деревню к другу своему, в село Хотетово, в двадцати пяти верстах от Орла, чтобы единственному разделить с ним ничтожество его...»

Эта встреча произошла в августе 1794 года, и она оказалась последней...

«Как лекарства не всегда приятны, так и истина бывает сурова», – не раз говорил Григорий Варсава. Слово в слово повторит это в 1852 году о. Матвей Константиновский больному и изможденному Гоголю. С той лишь разницей, что за свои слова Ржевский священник предстанет в мифологическом сознании мрачным средневековым религиозным фанатиком.

Сковорода застал своего друга в отчаянном положении; и мудрые беседы, которые возвысили ум, чувства и желания Ковалинского, не обошлись без мудрой жесткости – слишком сложен «предмет врачевания». Не одного Ковалинского предупредил Сковорода. «Истинная погибель – погубить самого себя, убежать, потеряв себя, – писал он своему другу и бывшему студенту Харьковской семинарии Якову Правицкому. – Так и не избежать бед, ибо бедствие внутри сердца увязло, сердце же всегда с человеком, и оно-то есть человек... Не помышляйте, что несчастье вовне...»

Сковорода приехал в Хотетово не с пустыми руками. Он привез свои сочинения, многие из которых посвятил Ковалинскому. «Ежедневно он читал их другу и в перерывах между чтением занимал его рассуждениями, правилами, понятиями, которые следует ожидать от человека, ищущего истину в жизни не умствованием, но делом».

Беседы с философом Ковалинский перескажет подробно. Много Сковорода говорил о Священном писании (целый ряд вопросов в толковании Священного писания изложены Сковородой в сочинении «Жена Лотова») как о книге, которая поучает человека «святости нравов». Без этих упражнений, как говорил философ, не может оставаться человеческое сердце, даже если «непонятливое окружение» будет упрекать в клевете или ереси. «Я признаю и исповедую духовный разум, чувствую писанный Богом закон и усматриваю сущее сквозь буквальный смысл. Я пополняю этим священную историю, а не разоряю ее, ибо, как мертвое тело без духа, так и Священное Писание мертво без веры; вера же есть извещение невидимых».

Он делится со своим другом платоновской диалектикой: *«Я верю и знаю, что все то, что существует в великом мире, также есть и в малом; что возможно в малом мире, то случается и в большом».*

«Иногда разговор касался смерти, – вспоминает М. Ковалинский. – Страх смерти сильнее всего нападает на человека в старости. Нужно заблаговременно подготовить себе вооружение против этого врага – мирным расположением воли своей к воле творца. Такой душевный мир подготавливается издали, тихо растет в тайне сердца и усиливается чувством сделанного добра...»

«Имел ли ты когда-нибудь, – продолжал Сковорода, – приятные или страшные сновидения? Разве чувства этих мечтательных удовольствий или страха не продолжались только до пробуждения твоего? Со сном все кончилось. Пробуждение уничтожило все радости и страхи сонной грезы. Так и всякий человек после смерти. Жизнь временная есть сон мыслящей силы нашей...»

На третьей неделе этого доброго свидания подходил к концу август, «был на излете», как и жизнь Григория Варсавы. Он и прежде не раз оговаривался в письмах к друзьям: вот, если в эту зиму или весну «не сброшу своей телесной брэнной линияющей шкуры», то увидимся... «Болезнь моя есть старость».

«Старость, осеннее время, беспрерывно мокрая погода умножили расстройство его здоровья, усилили кашель и слабость, – рассказывает М. Ковалинский. – Он просил отпустить его на любимую им Украину, где он жил и хотел умереть. Друг упрашивал его остаться у него, провести зиму и со временем окончить свой век у него в доме. Но он сказал, что дух его велит ему ехать».

Перед отъездом случился небольшой казус. Ковалинский хотел дать Сковороде что-нибудь в дорогу, снабдить деньгами – вдруг в пути усилится болезнь, придется где-нибудь остановиться, заплатить. Сковорода посмотрел на своего «постаревшего кузнечика»:

– Ах, друг мой! Неужели я не приобрел еще доверия в Боге, что промысел его вечно печется о нас и благовременно дает все потребное?

26 августа они простились. Сковорода обнял друга и сказал:

– Может быть, больше я уже не увижу тебя. Прости! Помни всегда по всех приключениях твоих в жизни то, что мы часто говорили: свет и тьма, глава и хвост, добро и зло, вечность и время...

Времени жизни для Сковороды оставалось чуть больше двух месяцев...

Последняя остановка

«Где и когда умереть? Не боится тот, о ком Аввакум говорит: «Праведник от веры жив будет», – писал Сковорода своему другу Якову Правицкому. Но в начале осени 1794 года Сковорода в смятении, его душа словно не на месте. В воспоминаниях М. Ковалинского это беспокойство чувствуется отчетливо.

«Приехав в Курск, – пишет биограф, – Сковорода остановился у тамошнего архимандрита Амвросия, мужа благочестивого. Прожив тут некоторое время, из-за постоянных дождей он улучил ясную погоду и отправился далее, но *не туда, куда намеревался*. В конце пути своего почувствовал он побуждение ехать на то же место, откуда выехал к своему другу, хотя совершенно был не расположен».

Его пристанищем стало небольшое имение помещика Ковалевского Ивановка. Здесь он бывал и прежде, хотя вряд ли Ивановка была тем местом, которое пришлось бы ему сильно по душе. Тексты его также Ивановкой не маркированы, в отличие от Бурлуков, Гусинки или Бабаев.

«В деревне у помещика Ковалевского небольшая «кимнатка» окнами в сад, уютная, была последним его жилищем, – описывает последние дни Сковороды И. Срезневский. – Был прекрасный день. К помещику собралось много людей погулять и повеселиться. Послушать Сковороду было также в предмете... За обедом Сковорода был необыкновенно весел и разговорчив, даже шутил, рассказывал про свое было, про свои странствия, испытания. Из-за обеда встали, будучи все обворожены его красноречием. Сковорода скрылся. Он пошел в сад. Долго ходил он по излучистым тропинкам, рвал плоды и раздавал их работавшим мальчикам...

По вечер хозяин пошел искать Сковороду и нашел под развесистой липой. Сковорода с заступом в руке рыл яму – узкую длинную могилу.

– Что это, друг Григорий, чем ты занят? – сказал хозяин, подошедши к старцу.

– Пора, друг, кончать странствие, – ответил Сковорода, – и так все волосы слетели с бедной головы, пора успокоиться.

– И, брат, пустое. Полно шутить, пойдем.

– Иду, но я буду просить тебя прежде, мой благодетель, пусть здесь будет моя последняя могила.

И пошли в дом. Сковорода недолго в нем остался. Он пошел в «кимнатку», переменял белье, помолился Богу и, положивши под голову свитки своих сочинений и серую «свитку», лег, сложивши накрест руки... Долго ждали его к ужину. Сковорода не явился. На другой день утром к чаю тоже, к обеду тоже. Это изумило хозяина. Он решился войти в его комнату, чтоб разбудить его, но Сковорода лежал уже холодный, окостенелый...»

«Дух бодр, но тело немощно», – часто говорил Сковорода помещику Ковалевскому. «Помещик, видя крайнее его изнеможение, предложил ему некоторые обряды для подготовки к смерти, – рассказывает М. Ковалинский и добавляет очень важную деталь: – Сковорода, как апостол Павел, считая обряды обрезания ненужными для истинно верующих, советовал, подобно как Павел же иудеям обрядствующим. Но, представив себе совесть слабых, немощь верующих и христианскую любовь, исполнил все по уставному обряду и скончался октября 29-го дня, поутру, на рассвете, 1794 года».

Перед кончиной Сковорода, по словам М. Ковалинского, завещал предать его погребению на возвышенном месте близ рощи и гумна и надписать над ним следующую надпись:

Мир ловил меня, но не поймал...

Будет еще одна надгробная надпись, сделанная Михаилом Ковалинским в феврале 1795 года:

*Ревнитель истины, духовный богочтец,
И словом, и умом, и жизнью мудрец,
Любитель простоты и от сует свободы,
Без лести друг прямой, доволен всем всегда,
Достиг вершин наук, познавши дух природы,
Достойный для сердец пример, Сковорода...*

После смерти Сковороды в Ивановке стали происходить странные вещи. Народная молва говорила о том, что могила Сковороды обладала какими-то особыми свойствами. В. Эрн приводит целый ряд таких сообщений. Например, когда владельцы, к которым переходил сад с могилой философа, забывали об этой могиле, с ними случались разные несчастья: или лишались своих жен, или спивались.

Народная молва говорит и еще более странные вещи. «По другую сторону рва, где была хижина Сковороды, садовник построил себе избу, – писал Н. Мягкий в письме к Г. П. Данилевскому, – и рассказывал мне о странном событии, бывшем с ним. Однажды, вслед за его переселением, откуда ни взялся вихрь, влетел с визгом и громом в окно, растворил настежь двери, чуть не сорвал дверь, перепугал до смерти его жену. Бедный садовник не знал, что на том месте жил необыкновенный старик, Сковорода».

Рассказывают, что когда Ивановка принадлежала П. А. Ковалевскому, жене его одна юрдивая сказала: «У тебя, матушка, в имении есть клад». Владельцы перерыли весь сад, но ничего не нашли.

«Кладом» была могила Сковороды, старца Григория Варсавы, странника и мыслителя, первого «пешеходца» русской философии...

Григорий Саввич говорил

И что блаженней, как достигнуть душевного мира, что уподобиться шару, которому все равно, куда катиться.

Недостаточно найти здоровую пищу и питье,
Если вкус у тебя поврежден болезнью;
Недостаточно сияния света дневного солнца,
Если свет головы затемнен.

Достаточно, если ты ненавидишь порок. Христос уже простил, лишь только у нас явится решение не грешить впредь.

Я уже раньше умер для мира, чтобы когда-нибудь подняться во славу Христа.

Ночное растение вянет с восходом солнца.
Под несчастливой звездой пусть ничего не родится.

Господь не ошибается. Кто просит всем сердцем, тот уже имеет.

Блаженство есть там, где обуздание страстей, а не их отсутствие.

Ты же следи за душой, как в ней зерно прорастает,
И не бойся полоть, если взошли сорняки.

Зачем сажать оливу, которая не приносит плодов?
Зачем вкушать тело Христова, оставаясь самим собой?

Что поделаешь? Такой я человек: для меня нет ничего приятнее, чем мелочи.

Каким несчастным животным является человек, которому в этом киммерийском мраке мирской глупости не блеснула искра света Христа.

Для мудреца станет раем любой берег,
Любое место, любая земля и любой дом.

Природа прекрасного такова, что чем больше на пути к нему встречается препятствий, тем больше к нему влечет.

Войди внутрь себя, мимо иди, плоть и кровь свою пройдя, весь тлен и дрянь – вот тебе спасительная пасха.

Кто скоро прилепляется к новому мнению, тот скоро и отпадает. Не будь ветрен. Испытай опасно всякое слово.

Все беседуют обо всем, но не все знатоки. Бредут за владеющей модой, как овцы. А человек понимает путь свой.

Долго сам учишь, если хочешь учить других.

Тогда ж начинается цыпленок, когда портится яйцо.

По мосту-мосточку с народом ходи,
По разуму ж его себя не веди,
За жуком ползая, влезешь сам в глину.

Лучше веселье без богатства, чем богатство без веселья.

Нет ничего смешнее, чем умный вид с пустым потрохом.

Библия есть источник. Народная в ней история и плотские имена есть грязь и мутный ил.

Поверьте мне: не жизнь, чтоб зреть, но то, чтоб щупать.

Человек зрит на лицо, а Бог зрит на сердце.

Челябинск, 2003—2005

ЛИСТ ОКТЯБРЯ

К книге стихотворений Юрия Попова (2004)

Время течет вечно, но жизнь коротка. И ее прожить, что Слово сказать – лишь одно из многих в толковом словаре человечества. Оно отзвучит, прокружив осенним листом, но и поспешит в неведомые пока сочетания и еще не написанные книги.

«Книга эта была ни о чем, и в то же время она обнимала собой всю его жизнь», – скажет герой одной из маленьких повестей Юрия Попова. Так и есть, и другого не дано. Он расскажет о себе все, но не оставит по себе никаких внешних зацепок, которые так любимы его другом-биографом и который готов хотя бы чуть-чуть рассказать об этом: благо в этом мире придуманы предисловия...

В 1988 году в школьных стенах Челябинского университета появился молодой человек, у которого я принял вступительные документы, а потом увидел экзаменационный лист, где все было сдано на отлично.

В его тетрадях на серовато-желтых страницах (лощеной бумаги у Попова никогда не было) – ровным и четким почерком, с неременной красотой китайских четверостиший, которые сначала созерцаешь и лишь потом читаешь, – гремучая смесь Пастернака, Есенина, Мандельштама, Блока, обильно приправленная неповторимым запахом старого провинциального Миасса с его вековыми соснами, темной водой озер, узкими улицами, над которыми повисали золотые шары и алели рябиновые ночи.

Таким Юрий Попов врвался в бесшабашную студенческую жизнь, пьянившую и завораживавшую. Жизнь тогда нам не ставила вопросы, она их подкидывала, подбрасывала, подсовывала подобно тому, как протягивают спасительную шпаргалку. Почему бы стихам не рождаться под шаг от ларька к ларьку; почему бы строчкам не прятаться в тишине летней ночи уставшего от пыли и шума большого города; почему бы слогу не принимать силуэты случайных прохожих; почему бы ритму не быть схожим с ознобом, когда прикасаешься к нежным женским рукам и чувствуешь одновременно и сладость и горечь поцелуя? Почему бы, в конце концов, музыке не рождаться из духа трагедии?

Все в те дни перемешивалось. Мы слушали городские романсы Новикова и тут же переводили старый и добрый Pink Floyd, маршировали левой вместе с молодым «Наутилусом» и перекладывали темновские куплеты. Мы слушали лекции по зарубежной литературе Марка Бента и Сергея Кошелева и тут же зачитывались Поучением Мономаха и Домостроем Сильвестра. Мы были «пятым поколением русского модернизма» (первый поэтический манифест, который подписал Юрий Попов), громыхали рифмами и ерничали смыслами под редакционный самовар, в котором пряталось пиво, прекрасно знали обэриутов, терялись в Петербурге Андрея Белого и в Воронеже Осипа Мандельштама, побаивались судьбы Кристофера Марло, сами издавали и продавали по 25 копеек первый университетский литературный альманах и устраивали поэтические вечера в театре кукол.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.